

Игорь Галеев
Калуга Первая

книга-спектр

Игорь Галеев

Калуга Первая

книга-спектр



Игорь Галеев

Калуга Первая. Книга-спектр

«Издательские решения»

Галеев И.

Калуга Первая. Книга-спектр / И. Галеев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966295-8

Кузьма Бенедиктович изобретатель, ему удалось овладеть тайной Спектра. К примеру, он восстановил события, произошедшие после истории с распятием Иисуса. Пошли слухи, что воссоздан некий Седьмой континент, попасть на который удаётся далеко не каждому, тем более таким персонажам, как человек-Пуп, тайный чемпион по Сексуальной Возне, человек-всегда-говорящий-«хмы», как женщина-Фирма, голодная-Кажись-девушка... Как и что видит человек Познавший — об этом повествование.

ISBN 978-5-44-966295-8

© Галеев И.
© Издательские решения

Калуга Первая Книга-спектр

Игорь Галеев

© Игорь Галеев, 2019

ISBN 978-5-4496-6295-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Игорь Галеев

КАЛУГА ПЕРВАЯ

Книга-спектр

Спектр (лат. spectrum – видимое, видение) – совокупность всех значений какой-либо величины, характеризующей систему или процесс)

Т Е С Т для читателя

(«да» или «нет»).

1. Вы знаете, что Вы вечны?
2. Бывает, что Вы спите до изнеможения?
3. Мечтали Вы быть королем (королевой) или прочим первейшим лицом в каком-нибудь историческом прошлом.
4. Смогли бы Вы крепко поспорить и вот так запросто на год отказаться от чая?
5. Уважаете ли Вы поговорку: «От сумы и от тюрьмы никто не застрахован»?
6. Доводят ли Вас до тихого, но бешенства комары?
7. Знаете ли Вы наверняка цвет глаз своего начальника?
8. Кажется ли Вам порой, что за Вами кто-то подглядывает?
9. (для жителей благоустроенных квартир) Бывает, что Вы не запираетесь в туалете или ванной, когда никого нет дома?
(для жителей не благоустроенных домов) Прячете ли Вы документы и ценности в стопках с чистым бельём?
10. Вы читаете книги, чтобы создать Нечто?
11. Возникает ли у Вас желание взяться с друзьями и всеми желающими за руки и пуститься в веселый хоровод?
12. Считаете ли Вы, что то, что естественно, то не безобразно?
13. Вы допускаете, что можете сильнее, чем наяву, ощутить воздушный поцелуй, посланный Вам красивым человеком?
14. Вы, конечно, подозреваете, что эти вопросы были заданы Вам с издевкой?

Ключ-рекомендация:

1. Рекомендация для тех, кто ответил на (один из): 1 или 13 – «нет», либо на 4 – «да» – Вам рекомендуется для подготовки прочесть научно-популярные журналы и стихи из сборников «Душа полна тобой» и «Для вас, женщины!». В том случае, если Вы набрали два балла из трех или же все три, то книга опасна для Вашего здоровья – подарите ее кому-нибудь.

2. Если же на 6 и 14 Вы ответили «нет» или на 7 – «да», то не огорчайтесь, ибо Вы очень умный человек и без книг все знаете (пожелание тому, кто на 14 ответил «нет», – Вам желательно осторожней переходить улицу и избегать любви с первого взгляда).

3. Рекомендация для тех, кто ответил на (один из): 2 или 3, или 5, или 8 вопрос – «нет», либо на 11 или 12 – «да» – Вы с успехом можете прочитать книгу до половины, если же у Вас наберется три балла, то Вам лучше самому написать книгу.

4. 9 вопрос – проверка на искренность. Если Вам каким-то чудом удалось ответить «нет», то лучше не говорите об этом никому и молча начните читать с конца.

5. Но если Вы ответили «да» на 10 вопрос, то можете пренебречь всеми рекомендациями и полистайте книгу для общего развития.

В том случае, если Вы не нашли для себя рекомендации, то Вы сами написали эту книгу.

Для тех кто не разобрался в тесте: просите своих старших товарищей и они все Вам разъяснят.

Круглое одиночество

Глава первая

Ужасная история или страшно сказать.

Недавно одна девушка пришла на кладбище.

Было уже довольно темно. Она, хотя и была местная, но очень любила поэзию и вот решила посетить могилы двух известных поэтов, побыть с ними.

Дом ее был в километре от кладбища, и она пришла к закрытию пешком с букетом живых цветов. Девушка эта была впечатлительная и даже нервная. Она бы ни за что не отправилась на кладбище в такое сумеречное время одна, но очень уж она любила этих поэтов, которые, кстати, сами пели на свои стихи, и девушка тоже пела под гитару на их стихи. Она любила петь, а они не могли не петь.

И вот этой девушке нужно было положить эти цветочки на их могилы ровно в полночь, потому что никто еще в двенадцать часов ночи цветы им на могилы не приносил.

А кладбище уже закрывали и никого не впускали. Девушка немного не рассчитала со временем. Через большой забор пролезть трудно, и она, к тому же, в этот вечер не надела брюки. Хотя очень любила ходить в брюках. Потому что кто-то сказал, что у нее ноги не очень. И зря, вполне нормальные у нее ноги, бывают гораздо и гораздо хуже...

И все-таки ей удалось проскочить в ворота, когда отвернулись охранники. Девушка – ее, между прочим, звали Тамара – спряталась за могильной тумбой и слушает, цветы в руках, как охранники, или как их там назвать, кричат:

– Выходите! Закрываем! Все, граждане!

И тут ей стало боязно. И поняла она, что сглупила и не все учла. Могила-то одного поэта была у вахтерской будки, а второго – где-то в глубине этого замечательного сада. Но отступить Тамара не любила. Она мигом решила, что в 12 часов положит цветы тому, что в глубине, а будет возвращаться – тому, что у входа.

Тамара была совсем молоденькая и упрямая. Можно сказать, волевая. Ее мама говорила, что у нее что-то с головой. А папа ничего не говорил, он много работал.

Тамара сидела за оградкой на корточках, и ей пришлось в голову оставить на могилах по маленькой пряди своих волос. Она не раздумывая взялась за дело. Мужественно вырвала штук двадцать чудесных волос и смотала их в два колечка. Она была гораздо на выдумки. И еще ей очень захотелось прижаться щекой к надгробным плитам поэтов. Но даже ей это желание показалось странным, и она мучилась сомнением – стоит ли такое делать.

А тем временем становилось темно. Ветер качал верхушки деревьев, и где-то за забором скрипел последний трамвай.

Скоро городские звуки стихли, и Тамара пошла вглубь кладбища. Она беспокоилась, как бы мама не позвонила подруге, к которой Тамара будто бы пошла ночевать. Никому, совсем никому не сказала она о своей задумке. И не скажет. Будут знать только два поэта. И Тамара счастливо улыбалась. Она все гадала, кого из них больше любит. Но так и не определилась. И тот, кто умер раньше, и второй – были ей одинаково близки и дороги. Она даже почему-то подумала, что любить двоих неприлично, как-то нехорошо. Но ничего с собой поделывать не могла.

Она шла теперь и читала стихи того, что был в глубине. Обычно у его могилы оставляли поменьше цветов, наверное оттого, что он давно умер, и она решила отдать ему шесть гвоздик, а тому, что у входа, четыре. Больше всего она любила розы, но гвоздики ей тоже нравились.

Она чуть слышно шептала чудесные строки и старалась не думать о глупых призраках и о всякой чепухе.

А вокруг – оградки да надгробия, похолодало, звезды с любопытством смотрели в просветы между листьев, ото всюду ползли кладбищенские шорохи. Они заставляли слушать бие-ние сердца, и в каждом темном пятне ожили причудливые образы. С большим трудом приходилось Тамаре доказывать себе, что она совсем ничего не боится.

Она представила, как сейчас улыбнется, как вдруг совсем рядом скрипнула калитка, и Тамара, резко обернувшись, похолодела – огромный человек стоял за могильной оградкой! Она вскрикнула и попятилась, но поняла, что перед ней обычный памятник, только зачем-то очень большой.

«Нет, так продолжаться больше не будет», – сказала себе Тамара и, включив подсветку, посмотрела время. Тридцать минут одиннадцатого.

Ничего, еще совсем немного. Она вышла на аллею, где увидела скамейку, присела и подумала, что и подождет, чем зря топтаться у могилы. Она даже покушала печенье с конфеткой и, облокотившись о спинку скамейки, помечтала, что, когда умрет, то по завещанию ее положат между поэтами, определят, сколько шагов, потом отсчитают половину и положат.

«Хорошо бы всем рядом, но это так хлопотно», – подумала она и задремала.

...Проснулась Тамара, когда кто-то осторожно коснулся ее щеки. Прикосновением нежным, но холодным. Она вздрогнула и вспомнила, где находится. Никого не было, хотя ей показалось, что совсем рядом по залежавшимся листьям прохрустели шаги. Она встала и осмотрелась.

Скрипели старые деревья, мигали вдали уличные фонари, и было холодно коленям. Тамара взглянула на часы и сказала «батюшки! пять минут первого!» Забыв обо всех страхах она шагнула, но вдруг ясно услышала голоса. Оглянулась – и в конце аллеи показались две фигуры. Прижимая к груди цветы, Тамара побежала между оградками и присела там, опустив голову и слушая глухие удары своего сердца. Эти удары совсем не давали ей слушать голоса. Она уже было подумала, что они ей почудились и в действительности на аллее никого не было, когда где-то невдалеке кто-то отчетливо произнес:

– Заманчиво, конечно, писать о себе, но кто знает, кто он сам? Что можно предложить, кроме утопий или имевших место событий? А бесконечно копировать природу и общество – это замкнутый круг.

Тамара ничего не поняла, взволновалась ужасно, сунула в рот палец и укусила.

А голос продолжал:

– Каждый старается продлить себя во времени, материализуется в детях, в камне, в звуках, красках, в слове. Фотографируются, биографии пишут, воспоминания. Здесь же явный закон!

– Вам мало того, что вы получили? – насмешливо спросил неприятный голос. – Бросьте! Были уже попытки перекидывания мостков. Они заканчивались бесконечным унынием.

И он пренебрежительно расхохотался.

– Значит, – воскликнул надтреснутый, но сильный голос, – ты признаешь пропасть, раз были мостки и проблема в средствах?

– И ради таких вопросов ты добивался встречи со мной? Это вам, праздношатающимся, можно фантазировать и желать. А я же хлопочу об элементарном выживании и с трудом поспеваю. Вон, посмотри, луна полная, а ты со своими законами.

Они остановились совсем близко. Тамара крепко-крепко прижалась к холодной земле и не смотрела в сторону говоривших, она боялась, что они увидят ее глаза.

– А чем ты в полную луну занят?

– Женщин раздражаю, – рассыпался в смехе скрипучий голос, – раздражение им – ради всеобщего продолжения. У них хандра, глупость, они отыгрываются на мужчинах, те тоже выходят из состояния покоя, глядишь, где-нибудь и скандалчик, есть над чем мозгами пошевелить. Что, думаешь – примитивно? Но зато надежно. И без таких мелких раздражений никакому брожению не бывать.

– Ну, а если иначе?

– Ты наивен, – раздраженно сказал скрипучий голос, – вы думаете о море, когда нужна-то всего капля, из которой выльется новый океан. Для этого требуется малость, – это неприятный голос произнес издевательски, – бывать везде и всюду и быть всем! Под-натужьтесь, ребятки!

– А ты не будешь мешать? – примирительно спросил надтреснутый голос.

И Тамара уловила в нем что-то очень знакомое и почувствовала, как земля забирает из тела тепло, но она боялась шевельнуться, голоса звучали прямо над ней.

– Вон что! – веселился неприятный. – Восточку подать хотите, ну-ну! Удобный случай подвернулся? Развлекайтесь, что уж там. Вон и дружок твой нарисовался, а мне пора, ждут меня женщины, волнуются. Главное – рассвет не прозевайте!

– Прощай, – ответил надтреснутый голос, и Тамара уловила в нем сожаление.

Она услышала шаги и, воспользовавшись моментом, переменяла позу.

– Чего это он притащился? – спросил новый голос, похожий на надтреснутый, но более мягкий. – Ты бы с ним поосторожней.

– Я сам его позвал. Он проговорился, оказалось точно так, как мы и предполагали.

– Слушай его больше, он же провокатор.

– Да нет, он же не виноват, что его так талантливо выдумали. И тебя он уважает.

– Да ты что! – заразительно рассмеялся мягкий голос. – Это он наверное за то, что мне памятник сменили.

– Он обещал не мешать.

– Это уже кое-что, он свое слово держит. Тогда можно и попробовать, тем более, ты сегодня родился.

– Я родился зимой.

– Я тоже когда-то не понимал элементарных вещей, – съязвил мягкий и повторил, – сегодня ты родился, в твою честь я апробировал свое желание и вот что мне удалось...

Они еще о чем-то говорили, но Тамара уже не воспринимала, она вспомнила, кому сменили памятник, чуть было не вскрикнула, задрожала, и мысли в голове запрыгали, как солнечные зайчики.

«Встать и поздороваться? – лихорадочно соображала она, – сказать „здравствуйте!“, но это не подходит. А если они исчезнут? А вдруг разгневаются? А если им нельзя отвечать? А вдруг...»

И тут она услышала:

– Да, доказал ты мне. Значит, стоит рассчитать, захотеть...

– Возжелать, – подтрунивая, подхватил мягкий голос, – а все-таки мне ее жалко, ей останется максимум три года. Из-за нас с то-бой.

– Не мы же придумали такой порядок, и к чему сожалеть! – горячо воскликнул надтреснутый голос. – За эти три года она обязательно встретится с ним, и он поверит нам.

– В нас!

– Нам, – упрямо сказал надтреснутый, – и мы еще увидим ту каплю, в которой океан!

– Ну скажи, тебе ее не капли не жалко?

– Да я потом ей все по высшему сорту устрою!

Надтреснутый счастливо захохотал и пропел куплет из своей веселой песни.

– Я часто заскакивал тебя послушать, – признался ему мягкий, – ты без голоса никто, человек разве.

– Ну спасибо, можно подумать, что ты был поэтом!

– Да я шучу, – отмахнулся мягкий, – а где она? Давай по-говорим, а то уйдёт.

– Куда же она уйдет, если вон в пяти шагах лежит, встать от страха не может.

– Неправда! – обиделась Тамара. – Я совсем вас не боюсь!

– Еще бы ты боялась, я смелее тебя и не видел, – и тот, что у входа, подал ей руку.

Тамара спрятала за спину цветы и вышла на аллею.

– Привет! – сказала она и увидела, что они нисколько не изменились.

Тот, что у входа, снял с её волос листик и подал ей, она взяла, и листик оказался зеркальцем.

– Спасибо, – сказала Тамара и поправила прическу.

– Давай, дари цветы, – сказал тот, что должен лежать в глубине.

– Я поровну, – покраснела Тамара, но они этого не заметили.

Она протянула по пять цветочков и сказала, что не верит своим глазам.

– Верь, милая, – улыбнулся тот, что в глубине, – ты родилась под счастливой звездой.

– А что, такие звезды действительно есть?

– Все есть, и звезды счастливые, и девушки красивые.

– Не закручивай девчонке голову, – перебил тот, что должен лежать у входа, – у неё там достаточно вихрей. Как здорово они пахнут, – он держал букетик у самого носа, – я вообще-то не нюхаю этот дурман, но твои – особенные.

Тамара была счастлива.

– А можно я пожму вам руки?

Они по очереди протянули ей руки и серьёзно пожали. Им не показалась такая просьба неуместной или глупой.

– Сдержал, шельмец, слово! – радостно сказал тот, что в глубине.

– Да, удружил. Чтобы к нам – и такая кроха. Тебя как звать?

– Тамара.

– Ну вот, Тамарочка, мы на тебя очень и очень полагаемся. От тебя теперь многое зависит.

– Есть такой закон, – перебил тот, что в глубине.

– Что ты встречаешь! Я сейчас сам все объясню.

– Не ссорьтесь, – попросила Тамара, – а то вы впечатление ослабите.

Они переглянулись и рассмеялись.

– Ну и повезло же нам! Ладно, говори ты.

– Нет, ты.

– А ты начал.

– Ну и что!

– Нет, ну что мне с вами делать, – всплеснула руками Тамара, – вы так до утра будете препираться.

– А сколько времени? – спросили они в один голос.

- Пять минут четвертого.
- Ого, скоро рассвет. Ну давай я.
- Не забудь про инициалы! – волновался тот, что должен лежать в глубине.
- Я с них и начну. Тamarочка, когда ты встретишь человека с инициалами К. Б. Т., то ты в него непременно влюбишься. Запомнила? Так вот, не знаю, что у вас там получится, но ты ему обязательно расскажи о нас, об этом случае, ладно? Он тебе, скорее всего, не по-верит, но ты не расстраивайся, потому что у него с этого все и завертится. Это важно для всех...
- Все пойдет по иному, Тamarочка, – не выдержал тот, что в глубине.
- Ты же обещал!
- Молчу, молчу, – и он отступил на шаг в сторону.
- Ох, Тamarочка, не забудь инициалы, повтори-ка!
- К.В.Т., – сказала Тamarочка.
- Так я и знал, – вновь не выдержал тот, что в глубине, – ты неправильно объясняешь!
- Не К. В. Т., а К. Б. Т., Тamarочка, – торопился тот, что у входа.
- Тут раздался какой-то странный звук.
- Это нам пора, Тamarочка, – забеспокоился тот, что в глубине, – К.Б.Т., запомнила?
- К.Б.Т., да, запомнила. А где я его найду? Он что, старый или молодой?
- Ой, Тamarочка этого мы не знаем! Спасибо тебе за цветы. И если с тобой что-нибудь случиться, то ты не волнуйся...
- Пойдем, – тянул его за руку тот, что у входа, – а то снова придется шляться в толпе.
- Ну и пошлялись бы ради такого случая, – взбунтовался тот, что в глубине.
- Да что приятного порхать да подслушивать!
- Это у тебя с непривычки. Давай, проводим Тamarочку, а потом что-нибудь наврем.
- Ладно, давай!
- Но проводить им не удалось – в конце аллеи появилась фигура и засвистела в свисток.
- Черт возьми, – сказал тот, что у входа, – разгуделись, так что сторож проснулся. Все из-за тебя!
- От обиды тот, что в глубине, не смог возражать, он лишь поцеловал Тамару в щеку и сказал:
- Беги, мы тебя прикроем!
- И Тamarочка чмокнув в щеку того, что у входа, побежала что есть сил, задыхаясь от опасности и восторга.
- К.Б.Т.! – прокричали ей вслед.
- Она повторяла на бегу эти три буквы и желала только одного – быстрее записать заветные инициалы. Она так разволновалась, что забыла об опасности и не заметила, что у ворот стоит человек.
- Ну-ка, милая, иди сюда! – сказал этот человек и схватил ее за руку. – С кем ты была? Где они?
- Дяденька, я одна! Я на скамеечке уснула, я домой!
- А кто кричал! Кто песни пел? Кто на могилах пакостил? Пойдем-ка о своих сообщниках расскажешь. Сейчас милиция приедет, всех переловят.
- Отпустите! – хныкала Тамара. – Я не хочу, мне домой нужно.
- Пойдем, пойдем! – тянула ее волосатая рука.
- Тамара подумала о буквах и не смогла их вспомнить. Отчаянье охватило ее, и она громко и дико закричала:
- Пустите! Я не хочу! Мама! Мама!
- Что, что, Тamarочка?! Что случилось?
- Зажегся свет, и Тамара, соскочив с постели, подбежала к матери.
- Пусть уберет свою руку! Что он ко мне привязался!

– Кто, доченька?

– Человек с повязкой! – прошептала Тамара и, хлопнув глазами, поняла, что стоит в своей комнате.

– Сон приснился? Плохой сон, да, Тamarочка? – спрашивала испуганная мама.

Растерянная Тамара отошла от нее, села на стул, обхватила голову руками и горько заплакала.

– Обманули, обманули! – повторяла она рыдая.

Мать побежала за водой. Она принесла ей в большой кружке, разрисованной кораблями. Тамара взяла, выпила и, передавая матери кружку, увидела на своих пальцах два колечка. Они были те самые, оттуда, из сна!

– Ручка! Где ручка, мама? Ручку!

– Да что с тобой? У тебя, наверное, жар!

Она протянула руку, но Тамара подбежала к столу, выдвинула ящик. Через мгновение она написала на первой попавшейся книге: К.Г.Б.

– Что ты делаешь! – в ужасе воскликнула мать. – Я же тебе тысячу раз говорила – не пиши на книгах!

* * *

Веефомит сомневался: стоит ли включать главы из «Прыжка» в свою книгу. Он кое-что выписал и теперь остановился на XI главе, где описывается сам прыжок, где:

«... Пашка, словно заявляя всему свету о своей исключительной состоятельности, вакханурия и бунтуя против этого огненного и красивого корабля, медленно движущегося в ночи по течению, посмотрел в изумленные глаза подбегающего Ивана и, криво усмехнувшись, спружинил от белого ограждения, и неостановимо и навсегда полетел белым стремительным телом в кошмарный, но такой притягательный забортный мир...»

– Кто же из них прыгал? – подумал Веефомит, – И если один к себе, то другой от себя или оба – к себе? Нет, не буду включать.

И он перечеркнул уже выписанное, посмотрел тираж.

Ого! Леониду Павловичу когда-то здорово везло. Если, впрочем, это можно назвать везением.

Веефомит думал:

«Сильный слабого вытесняет. Умный глупого не всегда. Но у всех есть голова для притязаний проявить себя. Ты способен на это, и я способен на такое же, на высоту чувств. Бац – и прыгнул. Безо всякой необходимости. Теплоход останавливают, спускают шлюпку, шторм, никого не находят, друг сходит с ума. Зато доказал – героизм без необходимости опасная вещь. Из всей этой истории можно сделать вывод, что один из них уел другого. Прыжок – элементарная потребность в действии.»

Он так подумал и записал эти мысли, а потом и их перечеркнул, закурил. Вдруг возмечтал, что сейчас дойдет до истины и поймет простоту Кузьмы. Вновь открыл «Прыжок».

Дальше шли противоалкогольные диалоги, о наркомании, про уличную девку, лирика, поганое прошлое, есть и налеты на стариков-консерваторов... И как оригинально, безо всяких штампов выполнено.

– Нет, – вслух сказал Веефомит, – он тогда не мог знать, что эти темы станут модными, они были в самом зародыше, и нет ни слова о власти и системе. Как мистически удачно он уложился в новое русло! Интуиция выживает? Да, здесь какая-то загадка.

Он перелистнул страницу и прочел прекрасный отрывок:

«И самое-то главное – его не отличишь в массе, его и подозревать неэтично. За что! Он такой же, как все, даже чаще других добивается справедливости, умнее многих, логичнее и напористее, это и ставится в заслугу. И никто не станет подозревать в грязном и мерзком, потому что он за новое, в числе первых, быть может, он и сам прячет от себя это главное за ширмой благородных иллюзий. Его еще светлейшие люди-соратники похлопают по плечу и представят: „Вернейший друг. За дело себя положит!“ А что, и положит, и спать-есть не будет, не добирать прелестей жизни, а своего добьется; но когда уж добьется, то тут-то из него выползет...»

Дальше было написано «змея», но Веефомит сказал вслух:

– Природа, – и перелистнул страничку, бегло пробежался по строчкам:

«... Эти бабочки облепили весь теплоход, когда в три часа ночи они вышли провожать девушек...»

– Они живут всего один день, – грустно повторял Пашка...

Просто уму непостижимо, как это они не остались вместе с ними на этом пустынном ночном причале, где тускло светили... где лай деревенских...

– Господи, неужели мы всё это забудем!»

– Ну, это лирика, – сказал мудрый Веефомит, – а вот дальше он рассказывает Пашке, как сам когда-то выпрыгнул из лодки, в которой скоморошничал пьяный отец, как плыл и чуть не утонул, и была истерика. Иван расчувствовался, слезы на глазах, ему удалось приблизить, оживить те давние ощущения, и тогда наркоман Пашка, возжелав испытать то же самое, выпрыгивает. Вот оно это место перед прыжком:

«Ивану не терпелось закончить этот ни к чему не ведущий разговор.

– Зачем ты меня обманул? Ты же не выбросил анашу, – сказал он раздраженно.

– Забыл.

Иван ядовито усмехнулся:

– Я поражаюсь твоему безволию.

– При чем здесь безволие? – Пашка заторопился. – Это мне помогает жить бодрее.

– Хихикать, по-твоему, бодрее?

– Да брось ты! Что там хихикать, я не о том, ты ведь можешь писать в обычном состоянии, а мне для творчества не хватает именно этого.

– Дурости, – усмехнулся Иван.

– Ты думаешь, я не смогу прыгнуть? – загорелись глаза у Пашки.

– Пока ты занимаешься косяками, ты просто торчок, а потом и вообще закиснешь.

– Я не смогу?! – повторял Пашка, и какой-то лихорадочный блеск заиграл в его широко открытых глазах...»

Веефомит захлопнул книгу, чиркнул спичкой, окутался дымом.

«Желание слияния, понимаешь ли... Оба прыгали, но ведь Леонид Павлович еще и в тираж сиганул, – молчал Веефомит в кресле. – Да и было все по-другому. Нет, не буду включать. Перескажу своими словами».

И он взялся за ручку. Написал:

«Леонид Павлович, как утверждали тогда критики, в необыкновенном лирическом символизме верно отразил столкновение добра и зла и вывел современного деятельного героя.

Привычные символы – корабль-общество, течение, ночь, рассвет, юность, старость, вода, звезды, пороки, искушения, прыжок, как гибель неверных устремлений, – приобрели острое современное звучание. Нет, я, конечно, утрирую, всё это писалось тогда критиками более точно и умно, но повесть пришлась именно ко времени, настольная книга нового курса. Одно только печально: кто-то из них сам себя толкнул за борт. Абсурдно допускать, что оба правы».

Веефомит остановился, подумал и раздраженно перечеркнул написанное.

«Что я судья, что ли! Эта критика никому не поможет. В конце концов зачем-то нужно было пройти именно такими путями».

И он, скомкав листы, бросил их в мешок отвергнутых черновиков. Листов набилось доверху, и он с удовольствием утрамбовал их кулаком.

Облегченно вздохнул, оделся и пошел прогуляться по городу, в который еще не приехал.

Среда

Он прилетел в Москву с улыбкой брачного афериста. Но слава, мутная, дурманящая слава томилась в таинствах плоти. Она плевала на ранний геморрой – наследство кропотливой работы над «Прыжком». Геморрой прошел, спасовал перед любимой женщиной и светлыми надеждами. Хотя геморроя и не было. Клевета! Слишком молод и здоров для него, седалище словно нарочно предназначено для писания.

Нужно было видеть, как, почувствовав себя всемогущим, талантливым и, наконец-таки, мужчиной, совершенно твердо верил, что любые преграды преодолеются, и победа взласкает органы чувств. И был действительно неотразим (не только для пузатеньких женщин), какая-то, не по возрасту, уверенность и ровная, упрямая энергия заставляли поголовно всех, с кем сталкивался, тихо или бурно верить в незаурядную будущность, в ту самую звезду, которая светит и принадлежит лишь избранным, да и то не всем.

Горел, еще каким нетерпением, тем более, что всюду ощущались брожение и передвижка. И нужно было начать завоевывать право включиться в борьбу, отмывать и очищать культуру от старых клопов и бездарных выскочек. Время словно тем и занималось, что работало на приезд, всегда и дальше подготавливало плацдарм для триумфа и деятельности. Да, это неизбежаемо: вся история, время, вся жизнь дожидались, когда явится последний, во всеоружии и страстности та-ланта, поразит и осветит все-всё вокруг, и тогда-то станет так девственно, благородно, умно, как никогда, и тогда-то многомиллионные... Восхитительно всё будет, одним словом.

Любил ли оставленный город детства? Тот город, откуда все начиналось, весь его, с теми, кто вырастал и старился рядом? Уже не любил, но чтит и помнит, потому что наивная любовь растворилась в познании всеобщей пробуксовки, в крушении собственных иллюзий, в лицах заблудших друзей... Но дом не выбирают и это он вывел сюда, каков есть, в эту загадочно-равнодушную столицу, манившую победой или поражением, за что и благодарен отчему месту.

Когда-то детство дразнило солнечной жизнью и оставило жить в недрах памяти желание земного рая; и облик светлого самого себя, ребенка, мечтающего о торжестве собственного «я», о великой судьбе и неопровержимой нужности призывал на бесстрашный штурм незаурядной судьбы. И всей этой неутоленной жажды в таком крохотном человеческом теле хватило бы не на один этот столичный город, огня этого смутного завоевания достало бы на сотни городов.

А самолюбия! Сладостным упоением от великолепия всего, что бурлило внутри, в мозгах, в пульсирующей крови, в нерастроченной чувственности мог запросто потягаться с самим Нарциссом. И это упоение было бы смешно и безобразно, если бы оно проявлялось демонстративно. О, это был сдержанный, скрытый нарциссизм, не в пример тугоумным эгоцентрическим выскочкам! Какое там рифмованное бряцанье – проза! Потому что внутри была уже

не та экзальтированная лирика своего гигантски инфантильного «я», которое так обожаемо иными нарциссами, а мечты периферийного мира о хладнокровных и вечных городах, выбрасывающих окраинам насмешливую банальщину и недостижимые идеалы. И хватало ума, чтобы понимать, что эти города ломают хребты миллионам, кому певучая юность подарила такие непрочные и обманчивые крылья. И уже чувствовал себя детищем века, иногда даже скромным богом, освещающим мир своей энергией, способным приводить в движение тех, кто пассивно глазел в ожидании.

И не испытывал особых мук творчества, о которых так часто упоминают иные писцы. И восторгов особых не было. Просто и вольно выплеснулся мир на чистую бумагу, откровенно, каким он и был, – вскормленный временем и прущей во все стороны жаждой жизни. Получилось с чувством, с уверенностью и не глупо.

Теперь, когда за спиной был «Прыжок», шагал по столице и знал, что такого же второго быть не может, природа не терпит повторений. Не усомнился и тогда, когда прочитал на столбе у остановке глупейшее на свете объявление:

«Пишу незаурядный роман. Желающих взять меня на бесплатный благотворительный постой, прошу позвонить по телефону: 200-24-17. Ем мало, могу вообще не разговаривать».

Прочитал и подумал: «Написал бы еще: мужчинам свои услуги не предлагать». Посмеялся и пошел себе и уже был далеко-далеко, когда остановился: «Может быть, стоит позвонить, познакомиться, тоже жизнь, судьбы, частичка столицы?» Но какой Москве нужны излишние светлые, да и в голове свое, столько хлопот, Ксения...

Всего четыре дня назад распрощался с друзьями и, находясь в вихре, словно по заказу сошедших свершений, поспешил сюда, предчувствуя, что время подготовило почву для победного вторжения. Не страшило, что придется в поте лица расчищать завалы. Революция продолжалась. Борьба обретала прежний настоящий накал.

Когда вспоминал Кузю, хмурился, эти воспоминания – единственное, что как-то старалось удержать в прошлом. «Может быть, это не для искусства, – говорил Кузя на кухне после чтения, – этот прыжок – случай, и все эти люди вокруг прыжка – случай из миллиардов других. Тысячи подобных случаев описаны». А потом вдруг, словно испугавшись чего-то, стал хвалить, перечитывать. Но вот эти его слова запомнились. Они мешали, отвлекали, и нелепый Кузя стоял за ними укором, ведь и он был не лишен таланта, и в чем-то благодаря ему была написана повесть, и не будь его, никто не прыгнул бы...

Были душевные беседы, были общие мечты, взаимопонимание, а теперь вот, после «Прыжка», что-то, наверное, сломило его. Тогда, на кухне, показалось, что сам Кузя увидел неспособность создать такое же, и черная тень между... Возможно, ему теперь придется закрыть шторы больших притязаний, и значит, прошлых отношений не вернешь. Скорбно, но факт. Еще предстоит разобраться, почему так устроен мир, когда один уходит вперед, а другой остается сзади. Самое главное, что Кузя жив, и теперь, отбросив то, что по молодости лет принял за свое, займется должным и предназначенным свыше. Как-нибудь удастся встретиться и вспоминать юность.

Вот она, столица! Несмолкаемый репортаж. Дыхание захватывало, когда въезжал в рот знаменитого вокзала, где начинался этот ритм, заползающий в умы, тела и души, расщепляющий их ради могущества великого города! Желудочный сок. Кто кого! Утраивается аппетит и колоссальная жажда информации. Стойко держался на ногах, не надеясь на легкую победу, и за четыре дня вник в то, что другой бы понял не за один год. Какая уж там улыбка брачного афериста! Ее не было. Просто любил, ибо Ксения дарила понимание, уважение и будущность. И она (Ксения лучезарна!) была счастливой звездой, она предваряла успех, который без нее был немислим.

Веефомит идет по Москве

Вообще-то он глуповато поступил, дав такое объявление. Его нужно было оштрафовать. Ёрничанье какое-то! Если с обывательской точки зрения посмотреть, так это грубейшее нарушение всех законов. А глянуть с противоположной точки – оригинально, но совсем ни к чему. Кому в наше нормальное время придет в голову, что такое объявление не шутка? Люди проходят, читают, кто улыбнется, кто пожмет плечами, кто нахмурится, есть и такие, что звонят, но ничего дельного не предлагают, чепуху разную говорят. Москва – столица грамотная. Над ней не поиздеваешься. За что ее и любят аван-тюристы и все авторы. Закат ее не предвидится, влияние ее на лицо. Так что шутить так можно только сдуру. Есть уже такие герои в искусстве – всякие нахлебники и паразиты. Тартюфами их называют. Кто ж о таком явлении не знает? И потому Веефомиту незачем было давать телефон своего знакомого. Так ему знакомый сказал, когда в очередной раз в трубку нехорошестей наговорили.

Веефомит вышел из укомплектованного общежития и пошел снимать свои объявления. Их было три. А теперь одно осталось. Снял он и последнее, и понурый и печальный отправился в комнату, где четверо, где входят и заходят, где незаурядного романа не напишешь. Он тогда не этот роман хотел написать, другой, который, как и этот, не дописал.

Шел он так, а вокруг машины, дома, люди, Москва, одним словом, а у Веефомита в голове философские мысли, и одинокий он преодинокий, даже грех над ним посмеиваться. Бывает с ним, что выпадает он из общей действительности, наплывает на него или что-нибудь изнутри выпрыгнет и отстаёт Веефомит от целенаправленного процесса жизни, или где-то рядом болтается. Запущенный студент, каких мало. Хорошо, что ему никто не подражает, а то расцвели бы всюду запустение и разруха. От машин и домов ничего бы не осталось. И некуда было бы ходить на работу. И некому. Но зачем-то нужен Веефомит, такой вот, не соответствующий запросам студент. Природа и более нелепые вещи не родит зря. Может быть, чтобы на его тусклом фоне блеснул бы поярче какой-нибудь исключительно важный для общества индивид? Кто его знает, точно лишь можно сказать, что Веефомит об этом и не думает, он бредет по столице иноходцем и философствует, даже если увидит какое-нибудь необычное лицо или забавную сценку – все равно философствует. Зараженный он человек.

А что если он попросту не выдержал испытание столицей, он же периферийщик, мало ли их трогаются от избытка информации. Некоторые его товарищи так и считают. И потому сложные у Веефомита отношения с соседями. Не хочется ему идти в комнату, где настороженно смотрят, как он что-то пишет в блокнотик или в тетрадочку. И никому невдомек, что Веефомиту все равно, что Москва, что Лондон, что Калькутта. Поступил, повезло, обрадовался и забыл, что повезло. Он еще не дозрел до периода, когда тело и сознание мгновенно реагируют на давление Среды. Не познал сладостей оттенков, смакований и штрихов. Не вышел из целого какой-нибудь его частью. И хорошо.

Плохо, что с объявлением ничего не вышло. И все-таки продолжал Веефомит верить, что есть хорошие люди, что мог кто-то откликнуться и понять, просто не свел случай с объявлением: бежал мимо второпях на работу, на заседание, в кино, а объявление маленькое, не со всякого расстояния разглядишь. А если на машине едешь, то вообще всё мелькает.

Родственники уже спрашивали Веефомита:

– И что ты все пишешь, что не живешь, как все, погляди, люди нормальные интересы в жизни имеют, как-то устраиваются, а ты то там учишься, то здесь, пора бы за ум браться!

А если бы он опять не доучился и болтался по свету, работал бы кем попало, носил бы штаны протертые, они бы ему и такое сказали:

– Ну что ты нас позоришь?! Вроде и не дурак, а головой не соображаешь. Вон, твои одноклассники все устроены, Васька на заводе не меньше директора получает, квартиру недавно дали, Игорь – следователь, а ты все кропаешь, все читаешь, а кому это нужно? Ну что ты там всё черкаешь?

И хотел бы Веефомит ответить, что не знаю, дескать, несет меня, мучает, душа мается, рожден глаза широко открыть, так много всего в мире, так густо, так полно – понять, разобраться хочется, хотел бы уверить, что и сам рад бы устроится, да не меньше директора получать, детишек маленьких завести, целовать их в пузико, учить уму-разуму, да как-то не получается, несовершенен мир для всего сразу, жертвовать приходится. И не может убедить дорогих сердцу людей, потому что не знает, куда занесет, да и слов таких у него нет, чтобы разом объяснить; утеряна нить, на разных языках объясняться приходится, на разных берегах одной реки оказались... Вот такой трагизм вырисовывается.

Но пока учится Веефомит и обязательно кончит, так что не услышать ему пока про Ваську и Игоря-следователя.

Вот сейчас войдет он в комнату, а там приятель его дожидается, тот самый, которого телефон в объявлении.

– Ну что ты, Валерик, ждать себя заставляешь? – посмеивается приятель, – свои заботы на меня свалил.

Он всегда посмеивается. В душе не очень полноценным Веефомита считает.

– Снял свое объявление?

– Снял, – покорно кивнул Веефомит, – ты был прав, сорвали два, а одно снял.

– Ну, это как посмотреть, – посмеивается приятель, – может, тебе и повезет еще.

Веефомит садится на кровать, никого бы ему сейчас не видеть.

– Да ладно, – бормочет, – это же ради эксперимента. Всё равно я альма-матер брошу. В тайгу поеду.

Но приятелю чем-то симпатичен странный Веефомит. Хотя он и пугает своими философиями, но чудится иногда приятелю, что что-то во всем этом есть, и помнит приятель, что все великие были со странностями, но, не имея оснований считать Веефомита Великим, он самонадеянно отводит ему место чудака где-то пониже себя и, пользуясь моментом, щедро говорит:

– Звонили тут, адрес передали, вот, возьми.

И уже несколько завистливо, но всё так же насмешливо до-бавляет:

– Молодой женский голос, понял, счастливчик?

Все понял Веефомит. Взял листок: улица, дом, фамилия, имя. Отчества только нет.

– Вдовушка, наверное, интеллектуалочка, будешь ты теперь, Валера, как сыр в масле кататься. Слушай, а что ты за роман пишешь?

– И что, мне прямо к ней идти?

– Бежать, чужак, – приятель сам был готов сделаться Веефомитом, – лететь, понял? Только сначала скажи, какой это ты незаурядный роман задумал? О чем?

Появился у приятеля шанс заглянуть за кулисы к Веефомиту – долг платежом красен.

– Да я пошутил, – расхохотался Веефомит, – ты что, ничего не понял? Поприкалывался, чтоб не так тоскливо было. Окстись! Какой роман? Что я, короче других? Вон сколько шары столыники заколачивать.

Приятель открыл рот.

– Ну ты даешь! Храбёр! Так может, мы это... вдвоем двинем, у этой вдовушки наверняка подружка есть, знаешь, не могу, так пе-реконторить охота!

Веефомит посмотрел ему в глаза и твердо сказал:

– Нет, туда я пойду один.

Пятница

Ксения могла слушать, она могла понимать. Еще тогда, когда приезжала на практику, когда сидели с ней на кухне допоздна и не смел дотронуться до ее руки. А так хотелось! Она, как глубокий колодец, далека, но зачерпнуть можно; попить можно, но нырнуть в глубину –

нельзя, опасно. Она мечтала о таком вот неумном, и встретила – талант налицо, энергии через край, интересно, остро, не соскучишься. И приехал, дабы жениться. Это было удобней сделать в столице, разумнее.

Дружно взялись за дело. Плодовито работалось. Многое дополнял, поправлял, и все выходило как нельзя лучше. Ксения знала меру и могла не спорить, о чем не знала, но могла и подсказать.

Потом перепечатывал на чистовики, читал ей, при чтении испытывал насыщение мыслью и полнотой чувства, возникал восторг от созданного («не мной, я лишь орудие») талантом. А в талантливости уже не сомневался, Ксения истово верила, что сдвинутся горы.

Поначалу и жениться-то не хотел, но Ксения подарила уверенность в силах, чувствовал, что о другой такой, да чтобы еще лучше, – мечтать незачем. И неудобно было жить с родителями, без прописки, двусмысленно получалось, и рукопись готова, столица замерла в ожидании и грешно упускать момент.

Зарегистрировались. И как хрупка и доверчива Ксения!

Маленькая комната уютно обставлена, и было приятно работать за столом среди заботы и внимания, стрекотать на машинке или править отпечатанный текст. Одна половина уносилась к вершинам мысли, а другая наслаждалась заботой и теплом, и не только от Ксении исходящим.

Теща и тесть – истинная находка. Еще до женитьбы смотрели как на настоящего человека, доверились сразу; сочувствовали начинаниям и понимали, что талантлив, безо всяких смешных доказательств. Они не лезли в жизнь молодых, как это случается сплошь и рядом, еще до женитьбы приняли как сына, кормили, дарили всякое, от чего нельзя было отказаться, не обидев их; а как-то даже купили бумагу – «за ней была очередь, и мы подумали...», – что забавно тронуло, и захотелось сказать: милые вы, старички; но да ну ее, эту слабительную сентиментальность.

Любил вкусенько поесть, и теща наивно радовалась каждому проглоченному куску, всё старалась разнообразить. И никаких предрассудков. Еще до женитьбы жили настоящей супружеской жизнью, и «старички» понимали. В них виделась даже гордость за то, что дочери так повезло.

– Это редкость – человек настоящей одержимости. Ты, Ксюша, должна быть к нему повнимательней, и если будут какие-то там странности, ты промолчи, потому что к нему с иными мерками подходить надо бы. Тебе выпала трудная, но замечательная судьба.

И так говорил Степан Николаич, тесть, совершенно простой человек, проработавший всю жизнь знающим, но обыкновенным техником, не вдававшийся в искусство, не имевший к нему ни тяги, ни призвания! Редко такое бывает. И вот такое невероятное отношение поначалу казалось не без второго дна, тем более, что теща, Нина Дмитриевна, говорила еще незаурядней:

– Ксения, – она порой в серьезности смотрелась довольно комично, – ты должна быть готова ко всему и все принимай как благодать. С таким человеком что бы ни случилось – все разумно и к лучшему. Многие женщины безнадежно мечтают о такой участи. Тебе повезло и в этом есть что-то мистическое.

Слова «благодать», «участь» и “ мистическое» Ксения, конечно, же ради шутки, добавляла от себя, пересказывая заветы матери. Но содержание от этого не искажалось. Не раз приходилось слышать это и самому в простых и благодарных выражениях от Нины Дмитриевны. А Степан Николаевич, тот, не находя слов, просто посматривал умными глазами, которые говорили сами за себя. К чему такое невероятие?

Неужели какой подвох? Ксения, как и многие современные девушки, была чиста и невинна, ничего аморального за ней не числилось. Она никогда не лгала, и ее прошлое можно держать на ладони. И никакого такого уродства, неполноценности. Исключено. Некоторые детали, так они, наоборот, придают особую привлекательность, нестандартность. Может быть,

болезнь какая... Осторожно выведал, нет, никогда ничем таким не болела и никто не волновался, если речь заходила о болезнях.

Но подозрение на болезнь не отпускало, тем более, вспоминалась одна история. Как-то младший брат был на обследовании у врача. Десятилетним. И вот эта врачиха, толстая короткая кудрявая старушонка пятидесяти пяти лет сказала матери совершенно уверенно: «У вашего ребенка конская стопа». Что это значит? – мать, конечно, не знала, потому как с лошадьми дела не имела. Тогда эта молоденькая старушонка в самых сожальных выражениях сообщила, какая участь ожидает «бедного мальчика» – неизбежно прогрессирующее слабоумие и смерть. Очень уж конская стопа. Тут-то и началось. Ни на мать, ни на брата без слез смотреть не мог. Никто в городе, кроме этой молоденькой старушонки, об этой болезни не знает. Искали литературу о стопе, а она не находилась. Очень редкая болезнь. Может, пятый или шестой случай на все Азию и Европу. Тревожное состояние день ото дня отягощалось зловещим будущим брата. Безобразный рок преследовал семью. Жизнь была в тягость. Частенько, как бы невзначай, вместе с матерью просили брата разуться, ненавязчиво изучали его ноги, сравнивали со своими, с соседскими, но так и не могли понять – конская у него стопа или нет. Одна была утеша: все говорили, что толстая короткая кудрявая старушонка многим «деткам» пророчила смертельный исход и была, как видно, не совсем в своем уме еще с той студенческой поры, когда всем своим маленьким впечатлительным существом углубилась в безбрежные просторы славной медицины. Да так углубилась, что напрочь лишилась какой бы то ни было личной жизни. От такой серьезной причины чего только не выдает человек. Тем более женщи-на...

Вспомнил этот случай и не мог не присматриваться. Всякое бывает. Ничего не обнаружил и укорял себя, решив, что просто Нина Дмитриевна такой чуткий от природы человек, что, возможно, когда-то в молодости нечто упустила, а теперь сожалеет или же по глупости в спешке наделала чего-то, о чем тоже сожалеет, но рада, что у дочери все будет по-настоящему. И к тому же трудно не разглядеть в явственном таланте многообещающую личность.

Тем более, много было светлого. Еще не возникли окаменелости. Ксения училась, работала и печатать помогала. Все успевала и уставала, конечно, как никто. Что говорить – удача. Повезло после всех страданий и комплексов о самом себе, о выборе пути, о праве на писание. Все-таки двадцать четыре года. И многое черпанул, пока дозрел до «Прыжка».

Ксению посвящал во все планы и мечтания. И она дорожила ими еще больше, нежели сам. Она стимулировала. Хотелось быть на высоте. Она, например, излечивала от мрачных мыслей, от припадков разочарования. Звучала же смутная строчка, неизвестно откуда приходящая и куда уходящая:

«Что это темнеет впереди?

Люди».

Много лени и хандры она разогнала без внешних проявлений, своим присутствием лишь.

Отлично все начиналось.

Приходил день, и, привыкший немного повалиться со сна, не делал этого, потому что Ксения уже ушла на учебу, Нина Дмитриевна приготовила завтрак. Зарядка. Дружно садились за стол. Корректировались планы на день, и Нина Дмитриевна подкладывала лучшие кусочки, а Степан Николаич во весь голос смеялся шуткам, от которых и Ксения весело и заразительно хохотала. «Старики» особенно выделяли и ценили умение обращаться с людьми.

Потом разбегались кто куда. И дома оставался один. Нужно было не терять форму. Сначала читал, потом делал прогулку по парку, заносил раздумья, снова читал, обедал, просматривал газеты и садился за работу. Стол, листы, чай, конфеты, яблоки и машинка. Самые любимые и упоительные часы. Не замечал времени. Отдавался работе какого-то незримого механизма. И с самозабвением вы-писывал слова...

Вечером у стола вновь собирались. Новости, случаи, про-исшествия. Степан Николаич обсуждал газеты. Он специально отмечал статьи, которые считал злободневными, и со смешным нетерпением ждал одобрения и краснел, как мальчишка, когда зарабатывал его. Фантастично, но он знал свой уровень!

Ходил с Ксенией в кино или смотрели вместе телевизор, балуясь чайком со сладостями. Если и возникал спор (касательно политики), то, жалея их устоявшееся мировоззрение, уступал, уклончиво и умно соглашаясь с некоторыми доводами. Эти «старики» прибавляли веры в собственные силы.

– Быстрее бы уж у тебя были права, – часто вздыхал Степан Николаич, а то у меня зрение дрянь совсем. Повозил бы нас, стари-ков, съездили бы с Ксенией на море. А то – что ты за женатый без машины?

Это он считал подтруниванием, и сходились на том, что скоро так и будет. Тесть любил, когда заходил к нему в гараж. Там было перед кем похвастаться зятем, тем более, уже не одному было рассказано, что зятя ждет непростое будущее. Слушали и недоумевали: что за странные «старики», чего они в этом молодом хлыще откопали. Но тесть был тверд. «Еще увидите», – говорил. И когда ездили все вместе в машине, обучал правилам, комментировал каждый момент. Ксения улыбалась.

Сначала думали меняться. Родители были готовы уйти в однокомнатную, а молодых – в двухкомнатную. «Вам еще сколько, а нам не бог вестъ», – говорила Нина Дмитриевна. Но потом наедине с Ксенией был разговор, решили, что без «стариков» будет тоскливо, исчезнет ряд преимуществ, к тому же, никто не мешает делу, а наоборот – только работай.

– Да и зачем их обижать? – подвел итог и посмотрел в до-верчивые глаза Ксении.

* * *

Так кто же прыгнул, и был ли «Прыжок»? Может быть, существует лишь мир, выдавленный из фантазий ночи под стрекот часов, кваканье лягушек, шум далеких машин, под стук дождя и шелест снежинок?

Веефомит пока не задается этими вопросами. Он опьянен роковой встречей, он оглушен подаренным невзначай счастьем и не знает, что сам его себе подарил, что рок – есть не что иное, как чьи-то фантазии о самом себе, как свои же будущие мысли о прошлом и грядущем. И пусть Веефомит насладится, ему нужен жизненный опыт и он его получает; и если можно выучиться на философа, то пусть он учится на него. Можно подождать, пока его тело пройдет сквозь время, мозг насытится и Веефомит уедет в другой город, чтобы там взять ручку и попробовать написать следующее:

«Давайте попытаемся воссоздать картину вместе.

Вот послеобеденные часы. Вот вы видите идущего по знаменитому столичному бульвару некоего человека. Похоже, что он где-то рядом живет, наверное, он знает себе цену. Походка у него неторопливая, он не оглядывается, редко смотрит в сторону и почти равнодушен к идущим навстречу. Он даже не интересуется сидящими на скамейках. С виду кажется, что он углублен в одному ему понятные мысли ли, мечты ли, образы... Но и навряд ли он особенно размышляет, так как если заглянуть ему в глаза, то не заметишь в них живого, самоуглубленного блеска, останется лишь память об умном взгляде, о достоинстве за личный накопленный опыт, за незаурядную судьбу. Но что-то странно обычным покажется в этих глазах. Краешком какая-то знакомая тоска проглядывает и через достоинство и сквозь личный опыт. Какое-то недопонимание. Некое общее для стареющих желание доказать всем и самому себе, что не зря прожита жизнь, что достигнуто вот то-то и это. И в этом желании кроется тоска по всё той же загадочной и великой мысли.

А человек, между тем, идет. И трудно определить его возраст. Можно дать ему лет сорок, а можно и пятьдесят пять. И такая неопределенность вызывает уважение. Одет он прилично, среднего роста, с сединой, и если он идет зимой, то в дорогом пальто, руки в карманах; а летом вы увидите на нем приличный костюм, рубашку и галстук без щегольства. Он, кстати, курит. Но не на ходу. На знаменитом бульваре полно длинных скамеек, и он удобно присаживается, где совершенно свободно, на той аллее, где меньше ходят и курит вкусно и быстро. Эта быстрота как-то не вяжется с его неторопливым обликом, она намекает на способность к порыву, на доброе здоровье и на ту самую мысль о не зря прожитом времени, как что-то родственное тем женщинам, которые любили и живут-живут, когда любви давно нет, а есть привычка, самоуверенность, что – гармония, тогда как ругань, тихая ненависть, тоска-тоска, но и слезы, когда хозяин умер, и похороны, и одиночество, жалость к себе и желание показать, что прожито славно, что была любовь, и снова тоска, и зависть, и воспоминания хорошего, когда вокруг сочувственно кивают, так же пряча свою ненависть и тоску. Вот вы улавливаете это печальное родство и пристальнее наблюдаете издали, и, кажется, начинаете понимать, откуда он и кто он. Вы сочувствуете, вы уважаете его волевые морщины, понимаете, что он много повидал, что его трудно удивить, и негодование возникает у него только по определенным пунктам, и женат он, потому что ухожен, даже бабушка... Вы вглядываетесь в его прошлое через его облик, и вот у вас вырисовывается одна картина, затем другая, и вы уже видите лица его близких, слышите их голоса, знаете, где что лежит, что с кем случилось, и, наконец, вам открывается зримая биография, она вам подсказывает, как нужно поступать, она учит, она входит в вас сотой или тысячной, и вот вам становится печально, грустно, уныло, сентиментально, а потом и скучно. И вы отодвигаете от себя эту прочитанную книгу, ибо она не развлекает, не будоражит, не открывает, а лишь учит, констатирует, указывает и прочее.

От чего же становится так нестерпимо скучно? Быть может, оттого, что вы не увидели толстую (или, по запросам, тощую) фигуру того самого очаровательного литературного персонажа, по нелепому и инфантильному прозвищу чёрт.

Или же более веской фигуры не заметили:

дьявола,
а может быть,
беса,
Мефистофеля,
сатану?

И есть ли прекрасные герои за плечами гражданина со знаменитого бульвара? Будут ли они продолжать улыбаться здесь? Поощряют ли ваши души? Наверное, от скудности жизни кое-кто привык развлекать чертовщиной воображение, потому что нет никакой охоты читать или плодить художественные биографии, облаченные в сюжетные тона, с выводами и тонкими моралите для добрых мам и престарелых тетушек. Все одно скучно, если автор и возьмет биографии министра или авантюриста, будет вызывать социальные, философские суждения, смешить и показывать, как нужно жить, а как бы не следовало. И хорошо, если нет претензий на образец произведения искусства – а так, мол, пишется, да и все. А если есть? Это просто кошмар, когда человек хочет создать образец. Иное дело – новый взгляд, развитие да движение. Хотя, как говорил друг человека с бульвара: «Все научились романы писать, тучи серости, хотя бы кто-то, наконец, на фоне посредственности более образованным языком заговорил о главном».

Здесь Веефомит задумался и зачеркнул цитату, она ему показалась двусмысленной и нескромной. Жаль, что Веефомит тогда еще не претендовал на новый взгляд, цитата-то вполне умная. Он встал, походил в своем будущем доме и, поленившись развивать мысль о движении, быстро накалякал:

«Так есть ли Выход? Его требует большая часть редакторов мира.

Наверное его нет, хотя пробовать применить писание для развития, для попытки понять себя, всегда не грех».

– Я зарпортовался, – сказал Веефомит, – эта Москвичка не дает мне сегодня покоя. Вот я поднимаюсь к ней в первый раз, вот она открывает дверь, смотрю не отрываясь, говорю: «я по объявлению», а она совсем не такая, как я представлял. Как она меня теперь мучает! Я не буду, не буду писать о ней! Ничего не было, я выдумал, я вечно холост, вот и всё!

Веефомит скомкал последний лист и быстро, скрежеща от напряжения зубами, написал:

«Скажем так: бес и черти и вся прочая нечисть в каждом и в общей массе тоже, не исключая важнейшие механизмы и электрические чайники. Природа водит всех на грани патологии, ей любопытно что сотворит любой тип, потому что – кто его знает, может быть, она выбирает из всех тот, который будет наиболее соответствовать ее планам и приобретать по ее велению массовость. Ну а пока, мы все не без изюминки и потому, заглядывая в положительных и отрицательных, займемся тяжким поиском Меры. Бенедиктыч нам поможет! Если, конечно не сведет меня с ума. Сам он, как видно, не собирается проповедать свои взгляды.

И я бы не стал, да что-то меня несет, и, переносясь в будущее, я предполагаю, что это пойдет мне на пользу».

Веефомит походил, походил и подумал:

«Как им доказать, что человек и без всякой биографии может предстать в самом невероятном и потрясающем образе, что человек может вобрать в себя весь мир. А сотворит такое, что и рука не поднимется описать, упрощать приходится, несмотря на всю фактичность. Упростишь, и то не поверят: где это вы такого монстра откопали – демонизм-де в нем или – фантастика, большой вымысел – рукой машут. Будто еще где-то можно брать, как не в жизни, которая преломляется в том или ином сознании. Два источника – жизнь да сознание, нет третьего, но упрощать все равно придется. Это Бенедиктычу незачем читателя притягивать, это ему иная роль, а мне его понять предстоит, мне к нему взгляды притянуть суждено. Летописец я. Потому и упрощать придется, чтобы хоть кое-чему поверили и не всё на большое сознание списали».

Неправильную позицию занял Веефомит, решив завлечь читателя, сел за стол, который еще ни одна фабрика не сделала, взял ручку, которой и в помине нет, вздохнул о Москвичке, к которой так и не ходил, и начал роман так:

События ужасной давности

В древнем городе Москве случилось несчастье. Леонид Строев, чудесный литератор и гордый человек, внезапно захандрил. Его домочадцы и друзья совсем не ожидали от него такого. Ни с того ни с сего на Леонида Павловича напала тоска. Летом, в 1999 году это случилось. Пришел он с ежедневного гуляния по бульвару и будто сам не свой. И сначала Москва толком не знала, о чем именно тоска у Леонида Павловича. Захандрил да захандрил, шептались.

Близкий друг его, почти биограф, Федор Сердобуев, приписывал беду магическому влиянию цифр. Три девятки подряд – это не шутка. Когда еще такое будет, мол, еще единица – и каким-то непостижимым образом станет две тысячи.

«Зачем? – волновался Сердобуев, – почему? Тут какая-то загадка! Ведь можно сказать, третье тысячелетие, и, значит, мы во втором все скопом жили, как в каком-нибудь тысячелетии до нашей эры. А куда же века денутся? На этапы все наши чаянья поделят. Целым поколениям

по одной формуле уделят. Ужасно! Ведь как начнут говорить: «третье тысячелетие», «день рождения Христова», «юбилейная дата», «двадцать первый век», «две тысячи первый год», «Христос воскрес»...

Тут и сам Федор Сердобуев начинал путаться и нервничать, так как являлся впечатлительной натурой, склонной к писанию длинных поэм о водах и человеке в городе, верящий в интуицию и предчувствие.

И не он один. В 1999 году все твердо уверовали в это «невыразимое» и «многообещающее». Тогда вся поэзия на одной интуиции укрепилась, и, действительно, родилось, как ни странно, два всемирно известных поэта. Взяли они от нового течения все, что смогли, и поднялись до всеобъемлющих величин. И как-то удачно оба показали по выходу. Один – в «интуитивное», второй – в «невырази-мое».

Так и убедил один:

«Невыразимость – гений впопыхах».

А второй еще точнее закончил свое программное стихотворение:

«Идя во мраке, чувством окрылен,

Ты верь, что там развеется твой сон,

И заживешь, мечтой вознагражден».

И все умело пользовались этими выходами, надеялись и верили, что спят. Вот только Леониду Павловичу поэтические регламентации не помогли, сколько ни зачитывал стихи перед ним Сердобуев. Строева поэзия давно не интересует. Он убежден, что она – дело юности, всегда временное явление, и не скажешь в ней многого, не охватишь со всех сторон предмет, как в прозе.

«И ладно, – соглашался теперь Сердобуев, – а ну ее, поэзию, конечно же проза. Из-под вашего пера такие жемчужины выходят, наиреальнейшие мысли и образы, прямо мурашки по телу. А мурашки – это, всем известно, и есть признак духовности. А, Леонид Павлович? Ну поработайте, берите ручку, вот листочки, посмотрите, какие они невинные, свеженькие, а? Работа вас мигом освежит».

Но Леонид Павлович лениво морщился, отворачивался, в глазах его мерцала мучительная тоска. Потому и говорит вся Москва, что Строев писать бросил. И пригороды вторят. В некоторых – даже волнения случились. «Просим и ждем Леонида Строева!» – транспаранты пронесли. Деревня Перделкино только отмалчивается, выжидает. А так, уже и периферия не знает, что и думать.

Всем не по себе. Периодические издания в шоке, ведущие редакторы курьеров засылают, звонят. Корреспонденты суетятся, в подъезде ночуют. Но Светлана Петровна неподкупна, на звонки – «болен», курьерам – «через месяц» говорит, а с корреспондентами во-обще не разговаривает. Никто не знает, как один сумел проникнуть в кабинет Строева, скорее всего, с помощью бытового гипноза проскочил.

– Вы это навсегда и бесповоротно? – спросил сходу.

Леонид Павлович вздрогнул и обернулся. Он дохлебивал борщ, и тотчас слеза выступила у него из глаза, потому что ему тройне было жаль себя, когда его обижали во время еды.

– Я не хочу! – махнул он вялой рукой и откусил хлеба.

– Уйду, ухожу, не смею! – сочувственно залепетал корре-спондент, – вы что, больны?

Строев проглотил ложку борща и низко склонился над тарелкой. У него еще сильнее защипало в носу и усилился зуд под бровями. Он был немощен и одинок в своем необычном положении и от этого еще беспомощнее в своих глазах, сочувствие к себе всегда вызывало в нем отвращение и затем ярость. Этого наивно не учитывал корреспондент. Нервы у Леонида Павловича совсем за последнее время сдали, еще мгновение, и он бы швырнул чашку с борщом на пол, затопал ногами и стал бы обыкновенным человеком, а не писателем с мировой извест-

ностью. Но в следующее мгновение (непредсказуемый человек) он нашел в себе силы сдержаться, резко повернулся к востренькому репортеру, окинул его холодным взглядом и сказал:

– Ну?!

От этого взгляда у бедного корреспондента в голове не осталось мыслей, он тщетно силился вспомнить вопросы. И Леонид Павлович сменил гнев на милость. Он не любил людей, долго держащих верх, и в себе подавлял этот инстинкт. И менялся Леонид Павлович быстро.

– Ладно, задавайте ваши вопросы, только коротко. Я обедаю.

– Ага! – корреспондент включил магнитофончик, – вы навсегда оставили профессию литератора?

– Кто вам сказал?

Корреспондент замялся и сделал шаг ближе.

– Все, Москва... Я сам слышал, – и сообразил, – если это не так, то я разом развею слухи! Леонид Павлович, читатель в растерянности! Он обеспокоен за судьбу народного таланта, который дарил ему минуты и часы наслаждения...

– Чуть! – вскочил Строев, – никому я ничего не дарил, я себя...

Но тут он опомнился, вяло сел. Взгляд его вновь наполнился тоской и раздражением.

– Вот что, молодой человек. Я вынашиваю планы. И никого не намерен в них пускать, слышите! Я не хочу обманывать ожиданий. Если и напишу, то не скоро. Я не молод, как видите, всякое может случиться.

– Что вы, вам еще жить да жить, вы еще пораду...

– И потому – прошу довести, если это необходимо, мои слова про планы до читателя.

– А в общем, – волновался корреспондент, – это будет о смысле жизни, с человеческими идеями?..

– Это еще не определилось, – отрезал Строев.

– Ясно. А конфликты?

– Я же сказал.

– Ясно. Может быть, где будет проходить действие? Вы о месте действия всегда давали интервью.

– Всё, – поднялся Леонид Павлович.

– Понятно, тогда последний вопросик.

И корреспондент взглянул своим отработанным умоляющим взглядом.

– Задавайте.

– Это будет в вашем излюбленном методе?

Строев вздрогнул, будто его застали за постыдным делом. И уже не скрывая раздражения и неприязни к востренькому лицу, сказал:

– Идите-ка, молодой проныра, к черту! Он вас давно ждет. Если бы вы понимали, где сейчас моя голова!

– О, ваши великолепные парадоксальные обороты! Вы по-прежнему будете вставлять их в диалоги?

Строев еще раз вздрогнул. Но теперь уже не от вопроса, а от того, как, ему почудилось, он был задан: «Неужели не без ехидства и издевки, настолько ли умен этот вездесущий?» На востреньком лице корреспондента ничего, кроме мольбы, не отражалось, и в глазах застыло прошение. «Сам вокруг себя чертей рассаживаю», – отмахнулся от глупых подозрений Леонид Павлович.

– Поживем – увидим, – философски ответил он на вопрос.

– Верно! – задвигался корреспондент, отступая на шаг, – а этим летом вы куда-нибудь собираетесь? Будете в Москве или уедете поближе к природе, чтобы там в тиши...

«А он не лишен патетики, – заметил Леонид Павлович блеск в глазах у разошедшегося корреспондента, – или дурак, или умен тайно. Но все равно бедняга».

– А может быть, вы съездите на Север, чтобы ну, там, набраться...

Долго бы не удалось Леониду Павловичу освободиться от диких вопросов, если бы не спасительная Светлана Петровна. Она за Леонида Павловича жизнь могла положить. Услышав голоса в кабинете, жена пришла в состояние опасное. Леонид Павлович все усилия приложил, чтобы пойманный корреспондент выбрался из квартиры в полном здравии.

На лестничной площадке его обступили коллеги и принялись уговаривать и напирать, выуживать и обещать, но счастливчик отделался умнее, чем кто-нибудь из них на его месте: он сказал, что «старик» непрошибаем, «сила», «созерцает мир через окно», и что луч-ше подождать, когда он войдет в норму. Ему, конечно, не поверили и с завистью смотрели в спину. Она-то им точно подсказывала, что в завтрашнем номере газеты «П», за подписью К.М., появится шикарный репортаж, где всем обеспокоенным и растерянным читателям будет разъяснено то, что они и хотят услышать, но совсем, конечно, не то, о чем ни один житель Москвы и ее пригородов, да и всех дальних селений не знает.

* * *

Об этом догадывался только один человек на свете. Можно сказать, что он наверняка знал, почему Строев «бросил перо», возможно, знал лучше, чем сам Леонид Павлович. И не потому, что человек этот был ясновидящим или там чернокнижником. Не поэтому.

Человек этот попросту знал Леонида Павловича еще с тех пор, когда он не был таким известным; он помнил о его слабостях, тонкостях и потенциях, он плыл с ним на белом теплоходе по ночной реке в какой-то давно прожитой жизни. Он мог бы сам написать, кто прыгнул, а кто остался, он вспомнил бы, почему прыгнул, но человек этот давно не жил по законам реальности и поэтому ничего не написал, считая, что всякое достоверное изложение – ничего не стоит, кроме стоимости газетной информации о текущих мировых событиях. Он мог бы лишь устно сказать, что один хотел доказать другому, что тоже может стать ему равным, осуществиться, но, как оказалось, порыв есть порыв, а осуществление – постоянное движение. Но человек этот не хотел обсуждать дела давно минувших дней, он жил теперь в иных мирах, об ином болела душа его.

Жил он, как все видели, холостяком, инженерил, изобретал всякие штуки, иногда даже получал за изобретательство деньги и не прочь был почудачить. Зовут этого самоуглубленного человека Кузьмой Бенедиктычем. Он теперь совсем уже не молод, и никто бы не сказал, что был он когда-то женат. Я бы первый бросил куда-нибудь камень за такие подозрения. И каково же было мое изумление, когда он однажды сам поведал мне о женитьбе на девице странной и таинственной. Это совершенно особая история, таких еще не было под солнцем, и, проявив уважение к личности Бенедиктыча, я должен изменить своим принципам и выписать ее подробно. Тем более, что он пока опять засел за свои, одному ему понятные чертежи, и потому образовалась явная брешь в сюжете и водворилась затишье в политической борьбе.

Как мне рассказывал Бенедиктыч, «в лужу» он сел (то есть женился) давно, год не помнит, а помнит, что был тогда молод и горяч, претендовал на грандиозную судьбу, на известность и прочую чепуху. Но претендовал тайно, так скрытно, что и сам об этих притязаниях не знал. Те причуды его характера, которыми он сейчас блещет, составляли в то время главную достопримечательность его личности. Он мог спать, где попало, есть, что попало, сутками не смыкать глаз, то вдруг педантично заботиться о внешнем виде, а то доводил носки до железобетонного состояния, и можно подозревать, что это он прыгнул с белого теплохода, хотя и Леонид Павлович прыгнуть тоже мог. Тем более, что он тогда Кузьме все чего-то доказывал. Они оба тогда писали тенденциозные рассказы и по традиции русских юношей замахивались на устои. И, естественно, обожглись, после чего Кузьма с особым упоением занялся со-временной музыкой, самовнушением и самим собой. Веры, как известно, во все времена маловато, а в те – осо-

бенно не хватало. И Кузьма пошел к себе, а не в магазины, где, к тому же, всегда были очереди. Равнодушный ко всяческим мирским соблазнам, он, однако, мог подолгу обсуждать и социальные тонкости, и новые прически, причины роста и понижения производительности труда, и разбирался даже в таком понятии, как рентабельность. Строев заслушивался, когда Кузьма фантазировал о будущем комфорте, о чудесах электроники и грядущего сервиса. Но на деле он оставался безразличным к любым переменам и сервису. Что-то начинало грызть Кузьму. И изменись мир – он все равно остался бы устремленным к чему-то иному, отстраненному от общих страстей, обсудил бы новшества и сказал бы: «мо тань го ши» – китайскую фразу, запомнившуюся из банальной брошюрки, а, сказав, вновь бы вернулся к себе, чтобы проверить: подействовали ли эти новшества на его неведомый внутренний мир. Кузьма вырабатывал ценности. Из сотен тонн породы – крупницы истины и смысла. Этот мучительный процесс бросал его во всевозможные крайности, душа жаждала меры, отвержение и принятие выкладывали ступени чего-то великого и главного, от чего можно будет оттолкнуться и полететь.

Но Кузя жил. Он общался, он сам не знал, что в нем творилось, не увидел процесс, и, будучи от природы чувственным и любопытным, попался на крючок.

Поразительно изменчивы женщины! Это поймешь, если проследить, какие они были два века назад, какими становятся ныне. Но их главное назначение – чего-то требовать и требовать от мужчин. И мало кто постигает – чего именно они требуют. Лишь Кузьма Бенедиктович знает – почему. А тогда даже и не догадывался.

Он тогда и предположить не мог, сколько этих чудесных и коварных существ бродит по планете. Вот все мужчины в чем-то одинаковы, похожи один на другого. По крайней мере, нет такого разнообразия, как у противоположного пола. И такого коварства нет, такой выдумки и смекалки, когда дело доходит до завоевания. И что интересно: на улицах не пристают, как мужчины, в лоб не действуют, а все равно сети у них прозрачнее и прочнее. И у каждой своя методика. «Сколько женатых, – говорит с усмешкой Кузьма Бенедиктович, – столько и пойманных на самодельный крючок». И после таких слов улыбка с его лица сползает, глаза туманятся, губы кривятся, словно острый крючок действительно вонзился в нежную мякоть.

Его уже тогда не так-то просто было провести на мякине. От рождения он недоверчив и осмотрителен. Он был не прочь поболтать с женским полом хоть до утра, рад был произвести впечатление, но когда ситуация подталкивала к более серьезным процедурам, терялся как-то, конфузился, так как по рассказам парней знал, что дальше необходимо применять волю, продемонстрировать стойкость и еще что-то, что-то там почувствовать и чем-то противоестественным заниматься, в необходимости чего он очень сомневался, считая, что и без этого общение может быть полным и гармоничным. К тому же, из рассказов тех же парней, он знал, что все эти процедуры могли кончиться нежелательными и уродливыми последствиями. А о семье у Кузьмы тогда и полмысли не было. Правда, поддавшись общему мнению и мужскому самолюбию, он, раза два, с помощью допинга, пытался освоить хотя бы азы, как учили, чтобы не чувствовать себя белой вороной, но у него не выходило, а выходили преказусные штуки, от которых он потел и краснел, чем вызывал у своих жертв то гнев, то смех, то жалость, но ни то ни другое не служило ему вспоможением, лишь усиливало извечную ностальгию вырваться из круга «предрассудков» к истинным поискам назначения и цели.

Кому-то такое поведение может показаться подозрительным. Но, забегая вперед, могу сказать, что Кузьма был вполне нормален и даже слишком нормален, попросту, в те давние времена сексуальные дела человечества пришли в тупик и явное запустение. Я сам тогда жил и порой вспоминаю многих девиц с содроганием.

Ту же, что поймала Кузьму на крючок, винить особо не в чем. Она – женщина, и в ней закон притяжения, который действует порой совершенно непознанно. И не будь Бенедиктыча, люди еще долго бы не узнали о том, что откуда берется.

Случилось так, что «чудак» Бенедиктыч увлекся поглотившим тысячи умов течением, занятым осмыслением и практическим применением таинств Востока. Тогда же Лёнька Строев собирался ехать к «лучезарной Ксении» в Москву, вчерне набросал свою повесть «Прыжок» и заслужил у окружения признание и прогнозы на успех. Лёньку окружали цветаевские девушки, они любили сидеть в его комнате при свечах, читать стихи, курить и грызть печенье. Они пописывали и были очень остры на язык. Конечно, и они чего-то добивались и на что-то надеялись, но были не такими уж серьезными фигурами, как те, у кого право на лидерство на лице написано. А Кузьма тогда считал умы того и другого пола совершенно равными в способности самостоятельно объять мир. Теперь он говорит, что это мнение и привело его к трагическому казусу, так глубоко изменившему его внешний и внутренний облик.

Тот злопамятный вечер состоял из трех подружек, комнаты в квартире Строева, двух диванов, шкафа, стола, фиолетовой картины, на которой изображался железный робот, душащий двуглавого дракона, шума машин за окном, чая с хлебом и маслом, стихов Цветаевой, сигарет и запахов ужина, просачивающихся сквозь дверные щели.

Лидер среди подружек, по фамилии Свинич, когда всё обговорили и Строев явно затосковал по маминому ужину, неожиданно заявила, что открыла необыкновенного человека и стала ему другом, что лучше людей нет и не будет. Кузьма зевнул. Он мало доверял Свинич, она каждый месяц кого-нибудь откапывала и закапывала, но Строев насторожился и погрозил пальцем, сказав, что быстро некоторые изменяют кумирам. Он умел высмеять себя и своих излишне ярых почитателей публично. Свинич возбудилась. Она всегда возбуждалась, когда на ней сходилась внимание – положительное или отрицательное. Тем более интерес к ней со стороны Леонида и Кузьмы поубавился, потому что Свинич хоть и была молода, но уж слишком доступна и обычна, любые внушения и идеи за ненадобностью смывались с нее, как с гуся вода, обнажая неистребимое желание быть первой и обязательно покорить, ну хотя бы своими вполне женскими ногами. Когда ей не удавалось, она становилась опасна мстительностью, она превращалась в препротивнейшее существо на свете. Но зато она писала стихи и могла развлекать компанию болтовней и последними слухами. Подружки благоговейно внимали ей и верили каждому слову. Она их находила где-то время от времени – каких-то сонных, заклеваных ее идеями о женском образе жизни.

Кузя собрался выйти в коридор, когда проскочили заветные слова: «агни йога», «веды» и еще что-то до боли родное. Он закурил сигарету и впился в Свинич, которая светилась равно пропорционально зрительскому вниманию. У слушающих пересохло в горлах, когда Свинич поведала, что у этого «Нового человека» настолько мощное самовнушение, что он за каких-то несколько недель приобрел азиатские черты лица. У Кузьмы нервно задергалось веко, когда Свинич прошептала:

– Он знает, когда я приду, если я об этом не предупреждаю. И оставляет записку, если знает, что приду, а сам уходит.

Строев хрипло спросил:

– А где он живет?

Свинич словно проснулась:

– Кто?

– Ну этот, твой парень?

– Какой?

Строев обозлился. Она итак в последнее время пугала его своей психикой, а теперь вот дурака делает; он подумал, что все это из-за того раза, когда она готова была, а он...

– О ком ты говорила? Ты что это, Свинич?!

Кузьма поморщился, сейчас начнется грызня. Свою фамилию бедняжка ненавидела, и ее можно было понять. Но сейчас она нисколько не обиделась, наоборот – расхохоталась.

– Да это же она, дурачки! Женщина!

И тут все рассмеялись. А вдобавок оттого, что «женщина» в ее устах прозвучало очень уж двусмысленно и уверенно.

– Ну и где она работает? – вытирая ладонью потный лоб, спросил Ленька.

Свинич объяснила, где Татьяна проживает и работает. И не желая терять внимание, предложила:

– Хотите, я ее могу сейчас сюда вызвать?

– Валяй, – разрешил Строев.

Свинич умчалась. Пока она звонила, каждый обдумывал, как предстать перед новым человеком.

– Чего доброго, она еще и мысли читает, – пошутил Строев и зародился спор: действительно ли есть такие, что читают мысли или это все трюки. Но вернулась Свинич.

– Сейчас будет. Я ей про тебя еще раньше рассказывала, – обрадовала она вмиг покрасневшего Строева, – и про тебя тоже.

– А чё про меня? – смутился Кузя.

– Ты же тоже интересуешься Востоком, – пояснил за Свинич Лёнька.

Разговор как-то не вязался. И когда пришла Татьяна, напряжение измучило всех до неприязни друг к другу. Она вошла, и сразу всем стало видно, что этот человек несет в себе нечто. У нее были и осанка, и достоинство. У нее умное выражение лица. И глаза, в которых тайна. Она была среднего роста, можно сказать, крупная девица с действительно темноватым, в чем-то раскосым лицом, огромными карими глазами, короткой прической и сдержанным молчаливым ртом. Фигура и движения у нее несколько угловаты, поступь твердая, а кисти рук и пальцы довольно изящные, как говорят, не лишены вкуса.

При Новом человеке Строев преобразился. Он всегда был не прочь произвести первое впечатление. Энергичен, словоохотлив и остёр. Кузьма поначалу едва поспевал за ним. И ему было желанно привлечь внимание.

Татьяна, в основном, молчала. Она, по-видимому, была неразговорчива. Девушки боялись показаться глупыми, и только Свинич, на правах посвященной, безудержно хохотала и больно подшучивала над горячностью разошедшихся «мальчиков».

Ум Свинич всегда поражал Строева. Ее ум напоминал ему яркий нелепый цветок. Она могла порассуждать и вникнуть в любую тему, она употребляла различные по сложности термины и знала, казалось, все. Она с необычайной легкостью манипулировала сложными понятиями и входила в труднейшие жизненные явления, как в собственную ванную. Она знала многие детали и тонкости. Всё, что Лёнька и Кузьма постигали ценой крови, пота и трагизмом потрясений, ей доставалось запросто – ценой энергии, затрачиваемой на открывание рта и вибрацию языка. Лёнька тогда только догадывался, что есть уйма людей, для кого знания, будто та или иная одежда, используются по погоде, моде и примитивнейшим замыслам. Можно было заговорить о сельском хозяйстве, и у Свинич имелись те или иные цифры, о коих никто не слышал, о Римской Империи – вот вам и имена диктаторов, фараонов, мыслителей; о философии – тоже не дунька – теорию отражения изложит, что такое материя – чуть глаза к потолку поднимет – и объяснит. Такая уж природа отличников.

Скакали от темы к теме. И удалось произвести впечатление обоим. Именно вот таких парней Татьяне встречать не приходилось. Глаза у всех поблескивали, когда Кузя, увлекшись и восплав, унесся в бесконечности космогонии и космологии. Он так расширил стены дома, что все действительно увидели бескрайнюю вселенную, и вечный холод проник в тела слушающих. Лёнька побаивался друга в такие вот гипнотические минуты. Ему казалось, что тело и сознание насильно оторваны от родной планеты и заброшены в снегопад звезд, в черное, одинокое безмолвие. И звезды, и свет, и ветер про-странства были ему холодны, они страшили, и хотелось, чтобы стены сошлись, и вернулся посильный привычный земной объем. И они

в конце концов сходились, но потом, порой, хотелось вновь испытать это странное состояние, увидеть себя где-то там, среди холодных звезд и мудрого хаоса...

Кузьма до того отрешился от комнаты и слушателей, что не заметил, как в его страстные образы гармонично и мелодично вплелись точные дополнения и фантазии новоявленной Татьяны. Возникало впечатление, что речь ведет один человек на два голоса. Замолкал на секунду-другую он, и, именно когда нужно, подхватывала она, продолжал он, и всепонимающе ждала она. Словно спасающий мир уютный Ноев ковчег плавно покачивался среди великих вод, грезя о своем легендарном пристанище. Поистине, то была необыкновенная поэзия!

Слушающих сковал столбняк, когда мелодия их голосов ровно и безмятежно утихла в объятиях торжествующей мысли. Говорить было не о чем. Любая земная тема прозвучала бы теперь ничтожно. Строев поехал, ему почему-то вспомнилась рукопись «Прыжка», и почему-то вспомнилась она с неприязнью. Тем не менее, он был рад за друга. Хорошо идти вот так, рука об руку, имея высокие идеалы, свободные мысли, будучи чуткими, бесстрашными перед неведомыми мирами. Конечно, Кузя максималист, но ведь и жизнь, выходя на свет, отважно и беспощадно разрушает родную скорлупу. Лёнька уже тогда оценивал многое трезво и со стороны.

И всем бы было после этого вечера вполне хорошо, если бы со Свинич не случилась истерика. Ее ум, не привыкший к подобным перемещениям, отказал ей, а затем взбунтовал против опасного напряжения. Она не желала так далеко отрываться от земли. Но так как являлась натурой чувственной и любвеобильной, даже поэтической, то не могла не ценить возвышенного, и вообще считала любые проявления чувств естественными и давала им волю и масштаб. У двух ее подруг нервные системы были более устойчивы, они хоть и слушали с благоговейным почтением, но зато успешно давили и давили в себе излишние эмоции, ибо считали себя неудачно рожденными и слишком мелкими для привлечения к себе интереса.

А у Свинич – артистизм, перевоплощение и слабые тормоза. Сначала все подумали, что она увидела что-то смешное в лице Строева и поддержали ее смех, но посмеялись – и хватит, а она – бедняжка, продолжала сотрясаться своим тоненьким тельцем, и скоро лицо ее неузнаваемо исказилось, губы побелели, и когда ей дали воды, она разрыдалась.

– Ну вот, – сокрушался Строев, – дофилософствовались.

Прямо-таки бедствие с этой Лидой! Никто тогда не подозревал, что истерика имеет еще и тайную причину. Натура пылкая, влюбчивая и злопамятная, Лида активно ищет идеалы, и, находя, желает владеть ими безраздельно. Обитая между небом и землей (самое неудобное положение), она вся состоит из банально возвышенного, и все ее достоинства в любой момент могут превратиться в навязчивый и самолюбивый сор. Умна и глупа одновременно. Она опасна, эта Свинич, когда теряет высоту в глазах подруг и знакомых, она сделает все, чтобы попытаться вернуть к себе внимание. И ныне она почувствовала, что теряет его. Она хотела единолично обладать Татьяной, ее внутренним миром, она желала, чтобы Татьяна впускала в этот мир только ее, Свинич, со всеми бесконечными историями о любви, о том, что она ответила этому и чем ее поразило тот, она надеялась, что будет безраздельно вливать в это восточное спокойствие свои беды и радости, точно так же, как если бы Татьяна была бессловесной коммунальной кухней, где вокруг общей плиты идут постоянные смертельные сражения. Сегодня ее чуткое женское ухо уловило в прозвучавшем не только вечность, но и потерю, и, как всякий ребенок, Свинич не желала отдавать свою любимую игрушку без слез и ненависти, к которой, к тому же, примешивалась вполне понятная женская зависть. Все-таки Кузьма был совсем не безобразен. А бедной Свинич так не везло на порядочных парней.

Понятно, что незачем было бы так скрупулезно углубляться в чудесную Лиду, если бы через месяц она не стала сообщать всем о желании уйти из жизни. Часами она могла просиживать под дверью Татьяниной квартиры, делалась то несчастной, то гордой, подбивала знакомых рыцарей на «бой быков» с Кузей, инсценировала собственные похороны, короче, всячески

отравляла сладость уединения двух возвышенных людей, увидевших один в другом лучшие образы своих воззрений и мечтаний. И можно по-человечески понять бешенство Свинич (о, кровавые ноги эмансипэ!), так как кому теперь не интересно заглянуть в двухкомнатную квартиру, где Кузя и Таня днями и ночами сидят то на балконе, то в комнате, пьют чай, курят, смотрят в друг друга и говорят о главном.

Да простится мне, как простил я себе, этот горбатый реализм!

Было лето и комарики. Были звезды и чужая квартира, которую по случаю снимала Татьяна, была чужая рассохшаяся мебель, и не было света в коридоре. Царила жажда познать тайну этого ровного и странного лица. Кузя порой зримо видел того, кто стоял за этими глазами, чей-то изломанный сорокалетний облик. Кто и откуда? Но Татьяна не пускала его в восточные таинства. Она была мудра и уверенна, как само райское тело культового Будды. Она была степенна и углублена. «Еще рано», – говорила она, и он обижался. В его голову врывались всякие мысли. И уже тогда он подумывал о ней скептически, но слишком велико было в нем исследовательское желание распознать, что откуда берется, увидеть взаимодействие мозговых механизмов, узлов, поршней и винтиков.

Кузьма нырнул.

Женщина, не похожая ни на одну женщину, без этого банального женского кокетства, желания завлечь, умнейшая и свободная женщина! Он высасывал из нее биографию, он следил за каждым ее движением, он рассказывал ей о космосе, и у них вновь получалось синхронно и торжественно.

Приходил Строев и слушал, и тоже восхищался, и уходил чем-то смущенный.

И что-то между ними нарастало и ширилось, и Кузьма чувствовал, что вот-вот и он ухватится за тонкую нить ее загадочной сути...

А потом у них случилось это безобразие. Как-то Кузьма остался ночевать, лег, а Татьяна была тут же за стенкой, и он слышал, как скрипнул диван под ее телом. К этому моменту их обоих измучила эта самая недосказанность. Они были знакомы три недели, проводили сутки напролет вдвоем, сошлись, казалось, в том, о чем никому и не снилось, гармонии достигли полнейшей. Но стена отчуждения по-прежнему была высока между ними, как проблема доверия между двумя государствами. Они все еще холодно изучали друг друга, гадая, что же скрыто за умными словами (пусть и истинными), за родством душ и почему так и не удастся проникнуть в самый наиглубочайший смысл. Кузьма вступил на дорогу Меры, и очередная крайность жизненной ловушкой манила его силы. Искус.

И теперь, лежа во тьме, он думал:

«Если она действительно мне сестра по крови, то это докажет последний шаг. Она останется или такой свободной, как и есть, или же...»

Он прислушался, стояла мертвая тишина. Почему так притягателен ее взгляд? Неужели она с помощью Востока убила в себе женское?

Он вслушивался, гадал, и ему чудилось, что через стенку, оттуда, где чужая мебель и чужая судьба, поступают какие-то неслышные призывы. Шторы наглухо закрывали окно. В комнате застоялся нежилой одинокий запах, и Кузьма ненужно лежал в чужой постели, бесильный уснуть. Форточка открыта, но дышалось ему тяжело. И противно было слышать стук сердца, от него тошнило и усиливалась тревожность. Прошел час, другой, но ему казалось, что рассвет не наступит никогда. Идти или не идти, разрубить одним махом узел, правильно ли он увидел, или вбил себе фикс-идею? И думает ли она об этом, может быть, ее ничто не мучает, она не чувствует, что нечто между ними стоит? Он слышал и слушал, и в голове его стоял гул, как в пустой бочке. Душа жаждала покоя, разум понимал всю глупость творящегося, организм утомился и начал омертвевать, еще мгновение, и Кузьма бы ушел из реальности в сон, когда в полнейшей тишине что-то звонко щелкнуло (то ли дверь отошла, то ли мебель рассыхалась) и так отозвалось в глубине измученного сознания, что мистический ужас обуял его, пронзил

мозг острой длинной иглой. При этом тело его осталось неподвижно, он не вздрогнул, ни один мускул не шевельнулся. Но этот гигантский ужас вонзился в самый мозг, казалось, щелчок произошел внутри головы, где что-то лопнуло пополам, озарив сознание гибельной предупреждающей вспышкой. И мозг воспылал, пораженный каким-то непознанным донныне страхом.

Он вскочил. Он понял – еще один щелчок, и придется безнадежно лечиться в уединенном заведении. Так он и не разобрал, ни тогда, ни спустя годы – кто явился источником этого безобразия.

«К черту! Это предел!» – бормотал он тогда, закутываясь в одеяло и подозревая ее и весь мир во всевозможных грехах.

Босиком он направился к дверям, и они скрипели, и он задерживал дыхание в страхе, что столкнется с нею в темном коридоре, он открывал дверь в ее комнату и заглядывал туда незванным пришельцем, и как будто это не он шепнул: «Таня!», когда она резко села, и тусклый лунный свет ночным молоком залил ее голые плечи, страх покинул его, и сознание наполнилось вихрем обычных мыслей.

– Таня, – он уловил, что голос звучит жалобно, добавил твердости, – у меня лопается сознание, я схожу с ума. Вылечи меня, если это ты.

И понял, что эти слова заготовил давным-давно.

– Я уже засыпала, – то ли радостно, то ли сонно сказала она.

Ему сделалось тепло от ее голоса, он шагнул, сел и ткнулся лицом в шершавое одеяло, прикрывавшее ее ноги. Он почувствовал себя здоровым и свободным. Она сочувственно и осторожно погладила его по голове. Он улыбался и, подняв голову, пытался разглядеть ее глаза. Они были темны, и ему казалось, что по ее губам скользит властная улыбка.

Но ему было все равно. Спасение! И он даже был рад и не обижен, когда она сказала «Рано», и у них в этот раз ничего не было. Он совсем не настаивал. Радость освобождения от ночного ужаса заменила ему все земные наслаждения. От ее прикосновений он сделался ребенком. Он благодарно доверился ее уму, ее сочувствию и пониманию.

И когда это наконец случилось, он уже безо всякого удивления познал, что Татьяна, спокойная и медлительная, не лишена женских волнений, что ничуть не поубавило признательности к ней.

Никто бы не нашел в ней особой перемены, она не вызвала в нем обязательств, наоборот, – поведала, что по натуре одиночка, и заботы о муже не для нее. «От меня любой сбежит». И Кузьма молча соглашался. Он полностью полагался на нее. Верил. И потом, она всячески давала понять, что это временное явление, и что для нее желаннее аскетизм.

Лёнька был занят рукописью, но иногда заходил, заглядывал в глаза.

– Смотри, – сказал он как-то наедине, – как бы чего не вышло.

– Ты же знаешь ее, – отвечал Кузьма.

– Да, – задумывался Строев, – она совсем не похожа на других.

Но и он ошибся.

Нельзя сказать, что у нее был какой-то план. Все дело в том, что если женщина и имеет идеалы, стремится к ним, живет аскетом, тем не менее в глубине ее плоти спит женщина. Приходит день, она начинает незаметно для себя стремиться с помощью этих же аскетических идеалов к тому, что заказала ей природа. Факт, которым пренебрегают романтики.

Их близость постепенно вошла в норму. Но он был свободен, она также. Он узнавал о ней все больше и больше. Он понимал, что откуда берется. Он нырнул и пил, думая, что не выпьет.

И вот однажды он вздрогнул. Это случилось, когда он мимоходом заметил, что в коридоре что-то серьезное с проводкой, не работает звонок, краны текут, и с каждым днем что-нибудь ломается, и она вполне легко и как-то невзначай ответила, что вот, мол, нет мужских рук. Он и вздрогнул. Им обоим было все равно, что сломано, а что нет. Квартира чужая, за нее и так приходится переплачивать, инструментов нет, скоро съезжать. Но ведь зачем-то была

произнесена эта губительная фраза про мужские руки. Она увидела его глаза, тут же опомнилась, покраснела и заверила, что это не повторится. Она знала, что он ценил ее за стремление, за взлет над бранным.

И он постарался забыть этот случай. Скоро он узнал, опять же, без прежнего интереса, кто стоял за ней, он сам подобрался к нему, в пух и прах разбив ее восточное мировоззрение. Вся эта агни-йогистика была для ее учителя средней школы (сорокалетнего, кстати) и для нее – уходом, самогипнозом. И ему стало скучно. Он добрался до дна. И тогда понял, что любовь – это постоянная непознанность, это бездонность. Но где ее взять, если в головах обыкновенные таблицы умножения или телевизоры с антеннами извне? Потом он как-то болезненно начал замечать, что она стала стремиться ему угодить, не доказывает, не спорит, обходится бережно и заботливо. И пусть бы. Это ведь так прекрасно. Но вот – о, разочарование, ты отвратительно! – как-то незаметно и невзначай исчезла в разговорах синхронность и торжественность, она теперь только слушала. И он понял, что этот механизм отключился в ней за ненадобностью.

Во имя её же былых устремлений он решил порвать немедленно. Она согласилась, но в глазах ее он увидел тоску. И тогда он осмелился впустить в сознание давние подозрения о ее вполне обычных способах борьбы с женщиной, когда они не были знакомы. И Кузьма познал маленький закон: женщины абсолютно всегда хотят предстать чище, чем на самом деле, в отличие от мужчин, которые иногда рады показаться падшими и грязными, зная, что их за это кто-нибудь да пожалеет. И с тех пор Кузьма завел трубку.

Эта история была сложна и многотомна, но она окончилась без трагедий. Татьяна при расставании обещала достичь вершин. Она корила только себя. Она хотела начать взлет заново. Но ему теперь было неинтересно. Его мозг жаждал новых источников. Кузьма вновь поплыл по поверхности.

И все же он совершил свою главную ошибку – теперь он к ней бесстрастен и не считает, что Татьяна обманула заведомо. Она попросту выполняла свою природную программу. Она позвонила ему через полмесяца и попросила зайти по делу. Он сострадал и зашел, у них случилось то, что ей и было необходимо: она хотела, чтобы это был он и никто другой. Ее право. Ведь рано или поздно у нее это все равно бы случилось.

Так он стал отцом поневоле, и, не будучи варваром, заставил ее расписаться, чтобы тут же развестись.

К ней у него осталась жалость, она была безмерна, как сама жизнь, она усиливалась тем печальным обстоятельством, что после рождения сына Татьяна вновь устремилась к вершинам восточного видения.

И поныне скорбит Бенедиктыч. И поныне он в неведении: а может быть все-таки есть та, что исходит из другого, в ком жизнь плоти сходится на вершине пирамиды – сознания? Он окутывается сизыми клубами дыма и знает, что женщина может ухватить любую по глубине идею, «подпоет», разовеет. Диву будешь даваться: откуда в ней столько ума, понимания, такта, чутья, тонкости? Так, в поисках спутника жизни вместе с ней плетет коварные сети «матушка-природа». И если вы тракторист, она с упоением будет слушать о поршнях и солярке, вникать в таинства тормозной системы, если вы летчик, то еще с большим восторгом восхитится небом и скоростью, героизмом и мужеством, если вы сторож, то... всё она поймет. Или же, не касаясь вашей профессии, увлечет вас в неведомые миры, позовет вас к прекрасному, угадает нечеловеческим чутьем скрытые томления вашей души, познает ваши мечты, даст им выход и развитие, будет воздавать хвалу и коленопреклоняться тому, что вам дорого и что для вас сокровенно.

И это прекрасно, если только эти свойства и способности не гаснут после победных завоеваний плоти. Случались ли в этом мире иные истории? Кто поведает их?

«Страшитесь женщину! Остерегайтесь ее!» – так в черновиках Веефомита патетически восклицает Бенедиктыч и прячет в желтых усах свою чарующую улыбку.

Воскресенье

Был энергичен, и в преддверии вот-вот осуществленных надежд (своих и общих), работал в кочегарке сутки через трое, кидал уголек в топку, любил смотреть на огонь, валялся на кожаном диванчике, листал периодику, разрабатывал планы, вносил в рукопись штрихи и наброски. «Прыжок» ходил по редакциям, и все было туманно, но вера в успех не покидала. Ксения приносила перекусить. И так ждал ее прихода!

Она уходила – и снова уголек, пыль и грезы.

Так и не понял: было ли происшедшее в ту ночь сном наяву или явью во сне, бред или реальность?

Уже шел второй час ночи, уже в глазах появилась резь, а в сознании бешеные вихри возможностей. Сел и стал писать. Любил это вакуумное состояние. Обожал до восторга. А ночь плыла за мутным подвальным окном и заползала невидимой тяжестью в душу.

Зажег настольную лампу, подогрел крепкий чай, надкусил апельсин и вдыхал его нездешний аромат. Вспомнил, что завтра Новый год, праздник, так ценимый и любимый всеми. Чему-то будут радоваться. Уже сегодня по городу вакханальная полупраздничная суета. Кругом: в автобусах и троллейбусах, в метро и на улицах этот дурманящий, странно знакомый запах мандаринов, яблок, апельсиново-сока, елок и чего-то еще, дразнящего древней памятью...

А когда сегодня вечером выходил во двор вдохнуть морозного воздуха, то видел, как мимо кочегарки пробежали подростки с нитями золотыми, серебристыми, как хлопнула хлоппушка, и завизжали от восторга, и на балконе жгли бенгальский огонек. Появилось шестеро в глупых масках и треснули пробкой на холоде во дворе кочегарки, недалеко от кучи горячего мерцающего шлака, и в морозном воздухе повисло и ударило в ноздри шипучее газированное облако.

«Здорово тебе повезло, парень! Завтра будешь дома!» «Утром сменяю!» – ответил. «Угости его, Сань.» «Будешь?» «Нет, спасибо.» «Не хочет.» «Ну, тогда лови!» Поймал этот тяжелый сочный шар и благодарил, желая какого-то там счастья. Славные ребята, не жадные, побежали куда-то, хрустя снегом, наверное, побежали жить.

Теперь их два (один принесла Ксения), два оранжевых дара далекой земли, два символа доброты и счастья, – на досках стола, среди чайного беспорядка и тетрадных листов, искропленных синими строчками, – два апельсинища, две чудные головки, пришедшие из сказки и детства. И ничего не болит, бессмертием дышат тело, ночь, огонь, лампочка и мечты, и даже если провести – вот так – языком по обломанному краю зуба, то и это ничего не меняет, уже нет того мерзкого ощущения разрушительной силы времени, нет обиды на несовершенство клеток и страха, что чего-то главного не успеешь. Все будет хорошо, кто борется, тот и прорвется! Там болячка, здесь недомогание, как это тускло и немощно в сравнении с этой вязкой ночью, полнотой чувств, высотой полета, мощью «я», готового принять и объять все, готового вынести приговор, отринуть ненужное и предвосхитить завтрашнее.

Представлял, как будто вспоминал прошедшее, как сегодня утром в доме начнется кавардак, стук кастрюль и сковородок. Будут (или уже были) заваленный всячеством стол, мука на локтях Нины Дмитриевны, мука на щеке у Ксении, фартуки, шагания беспомощного Степана Николаевича и еще что-то единое – смело продирающееся сквозь все напасти и трагедии, желанное и жаждущее очага, праздничного стола, чистоты и уюта. Они начистят, они помогут, расстелят и накроют, и загуляют запахи, стекло отразит огоньки и игрушки, новая ночь привалится к стенам, в торжественный объем шагнут холодные гости, внесут бессмысленный лег-

кий лепет, как сам смех – зметнется к потолку белая пробка, и под традиционное сдержанное дыхание польется пена в бокалы...

Представлял, смотрел на всю эту праздничную мишуру сверху, откуда видно только одному, спрашивал: что еще выше и чище может быть Нового Года! Видел общий объединяющий ритуал, видел братство и хотел чистоты, чтобы она не растворилась в пьяном разгуле, в похмелье и плевках в лицо. Они кинули апельсин – и мир стал чище, они крикнули: «лови!» – и поймал добро в ладони. И еще раз прижал оранжевую корку к губам, вдыхая аромат и веру...

Совсем не заметил, освещенный настольной лампой, как дверь открылась и появился один из миллионов – человек, довольно среднего возраста, довольно средних широт, в пальто, как с выставки, в обычном каракулевом уборе на голове, с лицом довольно странно знакомым... «Что за галлюцинация!»

– Здравствуй, как обычно сказал вошедший, – вы не будете возражать, если я у вас немного погреюсь?

Подумалось, что это любопытный сон, и потому можно говорить, как хочешь, не заботясь о последствиях. Конечно, проходите, сказал, садитесь, здесь почище, не желаете чаю с конфетами?

– Спасибо, спасибо, – устало поблагодарил вошедший, – не откажусь.

Он снял шапку и стало вновь не по себе.

– Я вам нравлюсь? – устроившись, спросил гость.

– В смысле?

– Вы мне симпатизируете?

– Вам или происходящему?

– Мне.

И тогда сказал эту гениальную фразу, которую ночной пришелец навечно запомнил.

– Каждый человек, как ящик с двойным дном, и сложность в том, что мало кто способен познать в себе это второе дно.

– Вы кто? Студент? – спросил гость после холодной минуты молчания.

– Я написал книгу.

– Не печатают? Я могу помочь.

– Нет, спасибо. Я вам пришлю опубликованную.

– Вы так уверены в успехе? Как хотите. Я тоже в ваши годы верил в себя. И вот, как видите, достиг вершины.

– Вершины разные, – сорвалось с языка.

Словно не сам говорил, а что-то толкало на такой вызывающий тон. Гость поморщился.

– Вы об искусстве? Но ведь польза на любых вершинах деятельности может быть равноважна, взаимнеобходима. Я вот устал от несвободы, оттого, что не могу пройтись, где хочу, от одних и тех же лиц. И вы когда-нибудь можете устать. Если вы поднимитесь, от вас будут требовать и требовать. И в конечном итоге будет три результата: маразм или сумасшествие... Что, впрочем, одно и то же...

Он замолчал, глотнул чая.

– Или? – спросил, видя, что он не собирается отвечать.

– Да так, молодой человек. О том говорить не стоит.

– Но почему же?

– Не стоит! – резко сказал гость, и глаза его на мгновение сделались колкими и недобрими, но он тут же смягчился, – вы узнаете когда-нибудь, а я должен еще сам выбрать. Сам, понимаете?

Было видно, что ему тяжело. И уже не казалось странным, что он вот так сбежал единственный раз, чтобы снова стать первородно свободным. Он был просто человек, он был не из тех, в ком изначальный заряд титанизма.

– Берите апельсин, вот этот, ненадкусанный.

– Спасибо.

Шелушили и нюхали аромат, надкусывали и пили сладкую кислоту, морщили носы и утирали подбородки. Говорили, будто бы во всем мире людей излечили от высокомерия и власти. Если бы знала Ксения, кто съел принесенный ею апельсин!

– Вас ищут, наверное.

– Конечно, такой переполох.

– Если вы сегодня действительно сбежали, вы на многое способны.

– Спасибо.

– Хотите еще чаю?

– Мне пора.

Встали. В эту минуту захотелось всецело поверить этому человеку, отмести то, что было, довериться тому, что будет. И не отталкивала вновь появившаяся на его лице решимость. Захотелось ему помочь, принять участие, поддержать, включиться всей энергией и всем существом. Это желание было и раньше, но были сомнения на счет этого человека, кто его знает, кому это царство справедливости, сколько веры было растрчено впустую, а тут вдруг – такая мощь, всеувлекающий поток, и от каждого зависит, что и как будет.

– Спасибо вам, – хрипло сказал.

Гость не улыбнулся. Он был уже не здесь, мысли его вошли в привычный ритм. Он стоял у порога.

– Надеюсь прочитать вашу книгу, – сказал он быстро и улыбнулся, как с экрана. Это был прежний, уверенный и деловой человек.

Когда за ним закрылась дверь, то неожиданно ярко представилось, как этот пришелец задержался на минуту с той стороны двери и, рассмеявшись перезревшим смехом, снял маску лидера.

«Ну да! – хлопнул себя по лбу, – Маска! Маскарад! Ряженный!»

Открыл дверь и увидел, как за угол забора шагнула фигура, и больше никого. Стало обидно и пусто. Падал последний в этом году снег.

Прошел к столу, подумал: «Когда же кончится сон?» Увидел две кружки, бумажки от карамелей, и нет двух рыжих солнечных шаров, в мусорном ведре расхлестались обнаженные корки и обсосанные лохмотья желтых долек.

«Кошмар какой-то! Сон или явь? Верю или нет?»

Мучился с час, пока не задремал на кожаном диване под гул жаркой печи.

Сказ о Раджике и Зинаиде

Есть на планете такой торговой город, куда одно время не заходили корабли иноземных государств. Город романтический и дурманный, многоликий, как и все большие приморские города. Там даже частые гадкие туманы вызывают редкие ощущения. Там – и чайки, и фигурные девчонки, и наглые рожи продавал. Притягательнейшее на свете место!

В этот самый город, в райский солнечный сезон, пробрался среднеобразованный и кареглазый парень Радж. Объявился он запросто, желал мир посмотреть, подумывал заняться чем-нибудь таким – швартовым.

Резкий парень был Радж. Учиться дальше не желал. С восьмого класса учителя считали его конченным малым. Но сочувствовали, зная, что последние два года жил Радж сиротой на бабушкином с дедушкиным содержании. А отец-беглец пропал где-то в средних широтах России. И бабушка, и давно глухой дедушка этого отца знать не хотели, алименты мизерные получали, на книжку Раджике складывали. Любили старые внука, души не чаяли. Вот только старались не показывать вида, потому что и без вида Радж вытворял и куролесил, так что краснеть не раз перед учителями приходилось. Что за огонь парень!

Покинул стариков внук лихо. Как сбежал. Письмо оставил – записку неназойливую. Что, мол, живите – не тужите, пейте и ешьте, как и бывало, ухажу в моря, не пропаду зазря, будут уловы – петь будем снова. А что на это возразишь? Человек с паспортом – вольная птица.

Как-нибудь всё же ушел бы Радж Кузьмич в море, устроился бы на судно металлическое, научился бы труду соленому, поблевал бы втихомолку, расширилась бы его грудь, посуровели ноздри и заиграли бы под тельняшкой тугие бицепсы, кабы не встретила на его пути крепкая морячка Зинка.

Поплавала она тогда не на шутку. Чуть ли не в северных и южных широтах. Походку ей море подарило: словно при качке в восемь баллов от камбуза до кают-компании с подносом в руках – ах! – по скользкому металлу. «Зинка-картинка» – прозвище корабельное.

Сохли в море соленом по ней плечистые парни. Говорила Зинаида, рассказывала, выбросился в бурных просторах из-за любви один за борт. Не мог жить так больше. Но не выдержал искушения, доплыл отчаянный. Рассмеялась в глаза и хранила-берегла достоинство женское, мечту девичью – за что и любили ее флотийцы.

Поплавала, сколько надо, и на берег сошла – учебу продолжать заочную, судьбу творить, искусствами заниматься, благо типов насмотрелась – не оторви да брось.

Устроилась человеком-дворником, квартиру выделили кем-то брошенную, но зато трехкомнатную. В подвальном помещении дома номер пять при улице Привокзальной. Одна комнатка – коридор с трубами в теплой изоляции, кухонька есть с водой только холодной, чуланчик, выводящей в низкий тупичок и что-то бывшее проходное. Благодать! Хотя и без всякой там мещанской мебели.

Зажила Зинаида царицей. Ела и спала, когда хотела. Остатки друзей-соратников собрала, разговоры возобновила, участок мела, пиво с чаем пила, морем бредила. Свободной была.

Веселая девушка Зина. Энергия из нее так и била. Унывать не любила и не могла. К искусствам всегда у нее тяга была. Картины рисовала, на гитаре играла, стихи сочиняла, замыслы прозаические вынашивала. Да что там! Иронией и сарказмом мужчин подкашивала. И один из таких подкошенных, совершеннейший блондин, подступил и сказал: «Зин, выходи за меня, вот я весь – таковский!» Но Зина бровью не вела – ждала.

Были дела! Кого только ей судьба не подбрасывала – изредка, но зато надолго запомнились. И ее забыть не могли, если и порывались. Девочек разных, суть-дорогу потерявших, честь девичью растрепавших, Зина к красоте призывала, по жизни с шутками вела, с собой в искусство увлекала. Была одна прибаутка: «Маразм крепчал!» – и жутко не было уже, и пела Зина в неглиже: «Вседержатель моей души!» – хоть плачь, хоть смейся, хошь – пляши.

И пронесся обманщик он – «гроза мужей», «Наполеон». Что тут творилось! Зине всё снилось: едут двое, смотрят лихо, детки, кресла, чисто, тихо...

Как у прочих – закружилось дело ночью. Растворился идеал и умчался «гад», «нахал» жизни и сердца курочить Машам, Аням и всем прочим.

Но не очень тосковала долго Зина. Появилась картина, где лукавит Магдалина. Ну и Саша. Был Евгений. Чтобы Зина на колени перед скукой и тоской встала бы? Нет, мир людской! Зина крыс, вон, не боится. У нее их там роится двести штук, а, может, триста – под звучанье Баха, Листа, переборы гитаристы Димки-лирика и Шуры – впечатлительной натуре.

«Муры-муры» – завела она котят. Плохо, что везде лежат, гадят, лазают и просят кушать. Ну а в остальном – очень милый Зинин дом.

Вот Радж ворвался в жизнь ее, как море в жадную душу поэта, как песня, как раннее лето. Так все говорили про это.

Шла Зина с участка, где, как могла, вымела квартал, перекусить надумала, к лоточку подошла, взяла любимый свой беляш с начинкой океанскою, зубами белоснежными – раз – и челюсти задвигались, и сок желудочный опасный для женщины аппетит отгонял. А молодость, а город, а море близкое!

Не видела – не слышала – в замыслах романых утопала. Дерзко мечтала. Истину знала. Любому излагала. За два часа – «только вдвоем!» – ее бы на блюдечке поднесла без всяких интимных намеков. Философская душа, хоть в кармане ни шиша. Что за природа!..

Так шла, лиц не различая, весь мир вбирая, осмысляя, беляш дожевывая.

Вдруг рядом кто-то: «Теть, а, теть, дай рубль песенку спою!» – и дергал Зину за полубочонки дворничьей, простой. Она взглянула и ей «ой!» – сказала мысль одна, и – «мой!» – воскликнула вторая. И вмиг вскипела кровь молодая.

Он был точь-в-точь похожий на мечту, что тайно душу по ночам терзала. Все беляши ему отдала. Он ел их, юный, чернобровый, вот роста только... Ничего! Она давно уж не жарптица, чтоб из-за этого рядиться. Он – покорится!

Ему в два счета доказала и показала, что молода, как море, песни и звезда. Да как умна! А как нежна! И зацвела. Отшельник-женщина, еще б! – тут устоять никто б не смог. Философ-женщина – мечта! Был Радж повержен, потрясен. Ему казалось – Зинка – сон! Он был обласкан, вознесен, ел беляши и пил бульон куриный из рук румяной, мудрой Зины. Кто здесь не скажет: «Я влюблен», к тому же, если беден он?

В пещеру из слоновой кости на свадьбу съехались к ним гости. Так погуляли-поплясали, что не запомнили, с кем спали. Счастливый Раджик в ту же ночь лишился двух зубов бесплатных при обстоятельствах понятных. А Зина – женственна, невинна – все хохотала, все цвела, супружней жизнью зажила.

Ну а когда зима прошла, на время истину оставив, святые поиски ее, она мальчишку родила, Любимым миром назвала. Друзья поздравили: «Ура!»

Вот год прошел, жизнь не менялась, друзья умчались – кто куда, и не писалось, но смеялось, и планы строились. Всегда сыночка Раджу поручала, чтоб рос мужчиной, а потом – она сама его научит, как жить по истине, с умом.

Маразм крепчал!

А Радж серчал, когда пил пиво и другое. За что, конечно, получал. Не мог покоиться в покое. И как-то зубы постепенно исчезли все – до одного. А так – все тот же – ничего!

Но день пришел!

Они в надежде, в одежде броской и простой
решили новых впечатлений и ощущений поднабрать,
талант Зинулин испытать,
отправилась отца искать,
и тестя, призрачного деда
навстречу жизни
с того
света.

Четверг

В ноябре перепечатка была завершена – три чудесных новеньких экземпляра, в трех аккуратных канцелярских папках с накладкой на каждой: «Леонид Строев. Прыжок. Повесть».

Собирались приятели и подруги Ксении, хвалили, строили перспективы, фантазировали. Уважали.

– Но, – говорил осторожно кто-нибудь, – не напечатают. Все болячки одним комом, такого не бывало, и потому побоятся.

– Но ведь талантливо, – возражали, – правда же, и – язык!

– Что язык! Что талант! Если о таком еще говорить не позволили. Инструкций не было.

Ксения отвечала на это: «Посмотрим». И все кивали, говоря, что время покажет. А время тогда действительно начинало показывать себя. Все затаенно ждали обещанных перемен.

Для начала существовала главная проблема: куда, кому и как. Понимал, что «уличный» путь малошансовый, а знакомых в литературных кругах – ноль

Один приятель предложил какого-то знакомого, у которого мама или папа в редакторах.

– Но к этому парню особый подход нужен, – говорил приятель, – он все по музыке тащится, рок-дела, Европа. Туповат. Он «Прыжок» не оценит. Разве что Ксению к нему отправить. Он от женского пола слабеет.

– Я бы могла поговорить.

Посмотрел на нее и сказал:

– Это не выход. Я пойду сам в редакцию.

Дилетантская затея. Ни один главный редактор и близко не подпустил. А если удавалось кого-нибудь из них, сверхзанятых, перехватить в фойе или приемной, то сцены выходили безобразнейшие, глупее не бывает. Бежал рядышком и лопотал униженно:

– Я бы вам хотел рукопись...

– В отдел, молодой человек, в отдел! – и бежит, хотя старик и одышка, хотя вчера только по телевизору говорил, что о молодых душа болит, рукописи просил приносить.

– Но я там был, они отвергают.

– Я своим сотрудникам доверяю. Что же вы все хотите, чтобы я с ума сошел? Тут по пятеро в день – и у всех гениальное, все хотят меня!

– У меня такая ситуация, кроме вас никто не ре...

Но старик уже у машины, дверцу захлопывает и, желая оставить демократическое впечатление, кричит:

– В отдел, молодой человек! Я распорядюсь, чтобы посмотрели со вниманием! Скажите им там, что я просил!

В отделах смотрели месяц-другой и вкладывали бумажку: гадость несусветная, похождения и разгул, бессюжетно, внесоциально, не без таланта, но все равно дрянь, т.к. нет глубины мыслей, тьфу! – одним словом.

И приходилось волочиться в другой журнал. Их оставалось все меньше. И жизнь казалась все плоше и несправедливее. Начинать помаленьку представлять, как вся необъятная Россия, цветастая Америка и умная Европа, Парагвай и Уругвай только и делают, что пишут, фантазируют, заталкивают вырвавшегося джина творчества в кувшин, и уже не отличишь, где истинно, а где бездарно. И находки в «Прыжке» уже казались не находками, а причудами, плодами безделья и лени, и не то что писать – дышать не очень-то хотелось.

– Ничего, – ярилась Ксения, – они еще попляшут. Вон, Безрукова двадцать лет не печатали. Нежити!

– Во, словечко-то! – и записывал словечко. Отвечал:

– Ну и что, что не печатали, кому от этого легче? Беззубее вышло. Действенность ослабили. Получилось, как красивое бабушкино платье из сундука.

Все сочувствовали. И намекали, что в Парагвае или, на худой конец, в Париже, запросто бы напечатали.

– Русский я! Русский! – кричал.

И как потом узнал, в Париже тогда тоже ходил один славный парень. Он нарисовал картину, потом еще и еще, и никому до этого не было дела, и никто не целовал Шекспира в темя за его несчастного принца. Тогда еще ни Ксения, ни он сам не научились благодарить небо за осколок прожитой жизни. И имели ли внутри место, где могла бы взойти та спокойная безграничная благодарность?

Ксения развеивала тоску. И снова шел в редакции. Пороги и секретари, прокуренные пальцы, листы и тупой гул объяснений. Мало-помалу скапливались сочувствующие. В основном, тетушки из отделов прозы. С оглядкой поругивали рецензентов, вводили в закулисные

кулуары. Но – «помочь не обещали». Им нравилось говорить, их слушали, они учили, они переигрывали на всякий исторический случай.

– Походите по литобъединениям, заведите знакомства, совершенствуйтесь, не отрывайтесь от масс. Заходите еще.

Тысячи улыбок, миллиарды кивков, сотни литров душевного расположения. Но в основном осклаблялись. Это словечко наиболее соответствовало тогдашнему мироощущению.

И не заискивал. Старался держаться достойно, общительно, раскованно. Наверное, выходило.

А уже дежурил сутки через трое, набрасывал планы на новое, время чувствовалось, как дуновение ветра, хотелось успеть, казалось, что впереди его так мало.

И ничего. Нина Дмитриевна только вздыхала: откуда столько настойчивости, выдержки? Приходили эти знакомые Ксении и смотрели во все глаза. Их манил и очаровывал такой стоицизм. Они сами томились по чему-то необычному и умному...

– Может, написать сначала о войне или о рабочем, – советовали самые болтливые, – напечатают, а тогда и это.

Молчал. Откуда им, глупышкам, было знать, что такое настоящее творчество. А потом говорил Ксении, что противно без смысла, без свободы мысли братья за ручку. И вновь слушал советы, сатаняя.

А тем временем прошли февраль, март. Почки, запахи и щебет. Тоска какая-то на сердце, усталость невероятная. Равнодушие. Укатали умельцы. И если хвалили, было теперь все равно. Отходил от «Прыжка». Надрыв и сонливость. Срок, отпущенный внутренними часами, подходил к концу. И кто знает, если бы не удача, занялся бы еще когда-нибудь этим самым творчеством...

* * *

С точки зрения большинства он недопустимо странный – этот малый, Алексей Копилин, гитарист перекаати-поле. Но он не помнил, чтобы кто-нибудь называл его Алексеем. Мать – Лёсиком, отец – Лексеем, друзья – Коп, девчонки – Лёша, и даже горькая, как полынь, любимая – Лёшиком, Лёшенькой. Его и язык как-то не поворачивался назвать Алексеем. Вид не позволяет. Худ больно, бледен излишне, разговорчив до неприличия, и все чего-то ждет от жизни, а чего сам не знает. И потом, как к нему серьёзно относиться, если этот человек в свои двадцать пять с половиной лет ничего себе не покупал. Кроме, разумеется, спичек, папирос и... больше ничего.

В далеком от столицы городе, где он родился, а также в других далеких от нее городах, где ему волей судьбы приходилось взрослеть, о его одежде заботилась сначала мама, потом еще раз мама, затем благородные подружки, участливые друзья, их мамы и знакомые, и опять же его добрейшая мама, которая посылала ему то свитер, то трусы и носовые платки. И это, когда Копилин неплохо зарабатывал и на себя практически не тратился. Тут сразу же можно заподозрить, что у него скопилась кругленькая сумма, которую он приберегал для каких-то ему одному вошедших в голову целей. Не на фрак же ему сбережения. Конечно, он копил! Правда один раз в жизни, в течение пяти лет. Он носил в шелковом носке все свои трешки и червонцы, дошедшие, наконец до двух тысяч пяти рублей восемнадцати копеек и подсобрал бы еще больше, если бы в один прекрасный день не понял ясно, что его ни с деньгами, ни без денег в Америку не отпустят – не к кому и незачем. Вытащил он с глухим стоном из кармана засаленный носок, промотал сбережения с помощью друзей, и с той поры возмечтал об Америке социалистической, чтобы было тут, как там, а там пусть остается как было.

Страна-отчизна-родина-Россия порой воспроизводит на свет таких вот вычурных, с позволения сказать, индивидуумов. Ну что откуда берется! Мама ни о чем таком не помышляла,

ни о каких таких жутких путешествиях и не думала, папа был в коллективе и боготворил коллектив, учителя часами рассказывали о родных просторах, те же педагоги в техникуме всячески порицали буржуазный образ жизни, цифер одних приведено столько было, так, может быть, друзья? Да, уж эти растлительные друзья и улица! Нездоровое место – эта улица. Стоит выйти из дома, учреждения-заведения, и словно бы попадаешь в иной чуждый мир, уходишь в какую-то черную дыру, где законы чужие, язык иной, и все вокруг иное. И как еще такое может быть! А кто разберет, где же настоящая жизнь и как молодой человек поймет, где лучшее? Нарвёшься на таких вот друзей в кавычках, а они давай шептаться о мире за океаном, и совсем непонятно в каких они школах учатся. «Америка!» – это слово в их устах звучит прямо-таки с придыханием, с каким-то никому не нужным волнением. И если походить подольше по всяким таким вот улицам, то можно наткнуться и на взрослых, равнодушных к зарубежным фирмам, к жутким наклейкам и картинкам, к кусочкам американской жизни по телевизору («пап, иди, Америку показывают!», – и такой вот папа спешит), и бывало же, что слушали пацаны раскрыв рты, как кто-то, совсем уж неизвестно откуда взявшийся, выходя из кинотеатра, говорил: «Умеют же жить, чертяки!» И странно получается: чем больше порицается, чем больше «нельзя» или «нельзя», тем жутче интерес – зовет и манит дворовых сорванцов – закон прямо железный, прямо-таки закон природы.

«Америка!» – выпучивают глаза мальчишки. «Америка!» – цокают языком фирмачи. «Америка!» – кивают недоученные папы.

И Лешка Копилин вляпался в эту заразу. Собирал он в глубоком розовом детстве макулатуру. Позвонили с другом в квартиру, а одна тетенька с папироской в зубах, бац им – три связки кошмарных журналов. Только-только к тому времени приятели бегло читать научились, рогатки еще из карманов торчали. Найти бы эту тетеньку и всыпать ей горячих, чтобы знала, кому чего давать. Два года Ленка с приятелями листали и перелистывали замусоленные страницы на чердаке, пока не залистались журналы в труху. Одно и хорошо, что язык иностранный на «отлично» сдавали. Америка тогда была для них ненужной миру Атлантидой, которая должна была вот-вот погрузиться в пучины океана или же стать частью единого, знакомого им порядка. И они интересовались всем, что касалось ее апогея, они набожно верили в ее грядущую агонию, они сделались маленькими историками сказочной для них державы. И еще долго шептались вместе с ними сотни и тысячи других розовых и бледных короткоштаных пацанов: «А-ме-ри-ка!»

Одни выросли и забывали свои потаенные увлечения, входили в большую нормальную жизнь, обзаводились семьями, и тогда уже их сопливые сыновья звали через две комнаты: «Пап, Америку показывают!» – и тогда в папах пробуждались бывшие ощущения, но они смотрели на экраны уже практически взглядом, без бывшего придыхания, просто один злопыхательствовал, а другой поглядывал, как на бывшее увлечение, как на старое детское хобби, болезнь прошла, и теперь отходили папы на покой, думая о завтрашнем дне, об отдыхе и хлебе насущном; Америка сделалась для них телевизором, газетами и радио, они познали, что Солнце везде одинаково, только светит, разве, с разных сторон, теплее или холоднее.

Многие сверстники Копилина стали теперь искать практическую пользу от своего бывшего пристрастия к Америке. Доставали то и сё, ориентировались – что прочнее и моднее, умели поддержать разговор или даже становились работниками «Интуристов».

Но оставались другие. Очень уж впечатлительные, не в меру стойкие по своим начальным воззрениям, не находящие себе пристанища. Как Копилин, например. Он тоже знал и хвалил то или сё, шупал и оценивал, он восхищался тем, что показывали приятели, но сам как-то не носил и не имел фирменных штанов, картинок или безделушек. Не перекупал, не продавал, потому что на любую куплю-продажу у него был стойкий удивительный страх. Если не сказать аллергия.

Титанической перестройки ума требуют от него походы в магазин за спичками и папиросами. Ему приходится отключаться от всех мыслей и настраиваться, потому что он наверняка знает, что в магазине он никому не нужен, и его личность там так или иначе оскорбят. Есть такой тип, на который продавцы реагируют беспронизышно: они его терпеть не могут; скорее всего потому, что подобные Копилину (а может быть, он существует в единственном числе) излучают ненависть к купле-продажному делу, создают нервозность и при всем трусливом почтении перед продавцом выказывают каким-то образом отвращение к нему. Естественно, что ответной реакцией является еще большая ненависть, ибо торгующий догадывается, что пред ним жалкий бессистемный урод, победа над которым не грозит административными последствиями. Результатом подобных побед является копилинская аллергия, и никто не знает излечима ли она. Сколько раз Лешку и оскорбляли и поучали и даже били.

Вот, к примеру, нашел на него столбняк. Очередь подошла, а он молчит. «Немой, что ли?» – брезгливо спросила продавщица. «Не», – ответил Копилин. «Ну а чё глаза вылупил, как дурак?» У Копилина запыхали волосы и уши. «Я... это...» «Того ты, а не этого, выходи из очереди!» Но Копилин и двинуться не может. «Чё тебе сказали! Не задерживай!» – стандартно начала очередь. Сознание трещало по швам, и ничего, кроме этого треска, Лешка не слышал, да, разумеется, доносились голоса: «Да выведите же его, товарищи!», «Нахлестался!», «Ну, пошел, проваливай!», «Да отодвинь его, и все!» И отодвинули. С помощью кулаков и пальцев. Оказавшись вне кол-лектива, Лешка обрел дар речи и заговорил патетически страстно и разоблачительно: «Звери вы, что ли? За что? Я выстоял очередь! Совести у вас нет, что ли?» Очередь обиделась: «Смотри-ка, зверьми оскорбляет, подонок!» «Пусть меня уволят, – возбудилась продавщица, – я ему не отпущу!» «Правильно, милая, учить таких нужно. Тунеядец!» «Товарищи! – вознес Лешка руки к небесам, – да что же я вам сделал?» «Да он пьян!» – заявил мужчина, дыхнув перегаром. «Милиция! Милиция! – выскочила опытная бабулька на улицу, – Помогите, тут буянит наглец!» И забрали. Внушение сделали. «Уважай массы», – сказали. И на другой день Алексей по-крылся такими маленькими болячками: пупырышками красными с белыми шляпками. И никто бы не поверил, что такое вообще может быть, и его приятели никогда бы не поверили, что Лешка способен не связать двух слов, они знали его ораторские возможности, они видели, как он держится на сцене, но факт есть факт, и хорошо, если он один такой на белом свете.

С тех пор носит Копилин, что попало, даже если смертельно есть захочет – в магазин не пойдет, в столовую не сунется, и если б не его страсть к Америке, он бы выглядел обыкновенным парнем средней руки, а не играй он на гитаре – на него вообще никто бы не смотрел, ему бы ни одна девушка пирожок не купила. Но он отличный гитарист. Его пальцы нервны и гибки. Его слух тонок и чуток. Он фанат. И его уважают те, кто его слушает, те, кто делает вместе с ним музыку. Творческая судьба Копилина богата неизвестными и престижными ресторанами, самостоятельными ансамблями разных ка-либров. Он начинал еще в то угарное время, когда прожигатели жизни бросали в музыкантов червонцами. У него были учителя и ученики. И он уживчив и коммуникабелен, если не считать историю с продавцами. Когда он обнимает гитару, то вместо бледного худосочного никчемуйки в нем загорается полубог, извлекающий из хаоса смысл и гармонию, которые в своем сочетании рождают у зрителей чувство восторга. И в такие минуты он красив и пленителен. Особенно для девушек. Вот почему они так благодарно заботятся о нем, приносят пищу и покупают шелковые носки, подбирают на свой вкус туфли и рубашки. У него самого на одежду вообще нет вкуса, хотя он мог бы одеваться по последним крикам. Деньги теперь у него редко водятся. Он их получает и продает вместе с приятелями и девушками, совсем не интересуясь отечественными ценами. Зато знает, сколько в Америке стоит какой-нибудь «мустанг» нынешнего года и почему там сегодня новогодние елки. Где он эти сведения почерпывает, одному богу известно. Наверное выдумывает, потому что в «голосах» этого не добавляют, в газетах, может быть, выживает. А эти проклятые «голоса»

он слушает постоянно. Приступы аллергии заставляют его уединяться, и пока не сойдут прыщи, он вертит ручку настройки, ворошит в волнении шевелюру, благоговеет, пьет горячий чай и злится на помехи. «Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона», – слушает Копилин и сердце его замирает, трепещет мелко-мелко, и ждет он, когда начнут резать правду-матку, когда белое покажут белым, а черное черным. Копилин в экстазе, он весь внимание и анализ, он вершит политику и участвует в судьбах мира, он велик, он причастен. «Говорит радио «Свобода!» – и душа Алексея в плену у «Свободы», и от этого плена он становится гражданином вселенной, наркоманом прав и справедливостей и сидит, сидит часами, утопая в последних известиях, в событиях, людях, фактах и комментариях. Пупырышки сходят, но он одержим, он витает над миром, хотя вполне психически нормален. За клиническую грань не перешел. Он попросту всё ещё все свои мечты и чаянья связывает с грядущим – с Америкой. Он видит день, когда его жадным глазам и ушам откроются края и звуки великой цивилизации.

Можно подумать, что Копилин с луны свалился и не знает, как плохо людям живется в Америке. Можно подумать, что Копилина еще не вычислили и не обработали по какой-нибудь производственной ошибке или ввиду особой конспирации. Ничего подобного. Никакой Копилин ни анти-, ни отще-, ни завербо- и ни -советчик. Ни эгоист, ни гад, ни приживала. Он был таким, как и все в щенячьем возрасте. А теперь он просто хочет пожить – в Америке, без заявлений и протестов. И еще он мечтает – это в нем прямо огнем горит – войти в какой-нибудь американский наисовременнейший ансамбль и со-творить с американскими парнями такое... ну прямо как у «Битлз» или как у «Пинк Флойд», только, конечно, на другом уровне. Копилин же талантлив. Он без настоящих парней свой дар растрчивает впустую, там же – наисовременнейшая аппаратура; он же здесь жизнь проживает зазря!..

Отпустили бы Копилина. Пусть поедет, помыкается, насмотрится, нахлебается через край, на своей шкуре испытает заокеанские прелести, разочаруется, заностальгирует, взмолится и вернется эдаким виноватым. А может быть, и не вернется, он все-таки даровитый парень, что зря-то скоморошничать. Богата Россия талантами! И вот загремит на весь мир копилинская гитара и будет он с зубастыми парнями улыбаться с дисков и пакетов, и публика будет визжать с первых же его аккордов, и будут кричать ему «сенькью!» и боготворить, называя «Супер Копом». Главное для него – школа профессиональная, чтобы наивысшего мастерства достичь, ну и второе – техническое оснащение, чтобы на разных новейших инструментах счастье испытать. Чтобы, как поры после бани, раскрылись копилинские потенции. Искренней желания не бывает. И пусть себе едет. Не будь его, что переменится? Никаких убытков, никаких трагедий и катастроф. Не застонет отчизна.

Вот он – возит по всей стране гитару и приемник с короткими волнами, делится впечатлениями, и находятся желающие – слушают, и от этого смотрится вся эта история нелепо, грустно, убого. Жертва Копилин или герой – никто в этом не намерен разбираться. Повествует он об Америке, играет и поет, но никому мечту свою вслух не высказывает. Томится и ждет.

Чуда, что ли...

Суббота

Но звезда удачи все-таки спасла, выручила. Миру – мир, человеку – человечность.

Когда для всех забрезжили на горизонте надежды или же разоблачения, тогда еще отпихивались и откладывали, выжидали. Повесть в двести пятьдесят машинописных страниц казалась им неприлично большой. Требовали, просили, убеждали сократить до половины.

Сказал одному:

– Искривите себе позвоночник.

– Зачем? Что за глупости?

– А какого лешего я вам буду переделывать финал!

– Как знаете, – и вспоминались нелучшие времена. Страх и трусость вошли в норму. Это даже наблюдалось в магазинах, когда безропотно платили за гнилую картошку.

Держался из последних сил. И грянули свершения. Все пришло в движение, рутинное сопротивлялось, но ветер перемен дул не сбавляя напора. Реформы радовали. Газеты запестрели резкими заголовками, люди все смелее заговаривали. От шепотов к возгласам, от возгласов к суждениям. Кто терялся, кто надеялся, кто богохульствовал, кто фантазировал. Запестрело, замногообразело. Появились случаи отказа брать расфасованную картошку. Казалось, нужно сделать еще один шаг и мечта узаконится.

Зав. отделами уже спрашивали: «Нет ли у вас рассказика для начала?»

Не давал, не хотел унижаться. Вздыхали: «Вот бы рассказик, тогда...» Для всех было совершенно естественно, что обыкновенный творяга без нормальной работы или, там, какого-нибудь образования не имеет права начинать прозу с таких объемов. Не времена же Федора Михайловича! Сегодня те, у кого имеется писательский документ, претерпят неудобства, ущемятся в правах, останутся без хлеба, без крова, опухнут от недоедания, будут скорбеть и страдать, когда кто-то там сразу займет их заслуженный тиражный объем и отстегнет приличный кусок от праздничного пирога. И кто? Мальчиш-ка с неизвестно какой улицы, выскочка, обесценивший долголетние завоевания, профессионализм, муки творчества и возраст, и опыт, и тернии.

Всюду поругивали формалистов, привыкали к напору ветра, приучилась хвататься за ветви, развивали органы цепляния. А этот ветер перемен все дул и дул, снося с привычных построек безвкусные украшения. Но для каменных кладок нужна была буря. «Нет, нет – говорил уже тогда, – не революция, упаси Господь! Все одного цвета, нет ни белых, ни черных.» Надеялся пробить себя, чтобы указать кто есть кто. Хотя и обжегся когда-то, но возбуждался от каждой «зажравшейся» истории, как от головокружительной высоты. Среда колола со всех сторон и всегда отвечал на уколы уколами.

И как-то, когда забирал в редакции рукопись, подошел молодой человек, лет на пять старше.

– Нематод, – представился, – я прочел вашу рукопись и давал одному человеку. Он заинтересовался.

Глаза Нематода смотрели умно и уважительно. И когда он назвал имя человека, то надежда подмигнула обоими глазами. То был поэт, о котором слышал с детства, еще не зная, что существует Союз писателей. К поэту относился не очень, но какое это имело значение, если всюду одни тычки в шею.

– Я могу дать ему ваш телефон, – совершенно серьезно сказал Нематод.

И поэт позвонил.

– Добрый вечер, Леонид.

Ксения стояла рядом и казалась гитарной струной.

– Здравствуйте.

– Нематод вам передал, что я хочу с вами встретиться?

– Нет.

– Ну что же он, хулиган! Вы и так, как я слышал, находились по мукам, а он еще и порадовать вас забыл.

Подумал: «Порадовать, ишь ты!»

– Так я вас жду, Леонид. Завтра. И могу сказать, что в «Глобусе» вами заинтересовались. Вы талантливы, Леонид.

– Спасибо, – и покраснел, обозленный на это «спасибо».

– Кстати, вы же женаты («и это знает!»), так что приходите с женой. Нематод зайдет и вас проводит.

Повесил трубку, и почему-то настроение скисло. Ксения тоже молчала. Но пришел Нематод, и пошли.

Что осталось от этого визита? Поэт – это бразильский кофе, сумрачный кабинет, халат на спинке стула, весомый литературный опыт, дерзкий язык, отцовские выражения лица, желание остаться настоящим человеком в чужих глазах. Поэт хотел быть первым покровителем.

– Я знаю, – говорил он, – ваша книга будет иметь успех. Вы вовремя свалились. Это начало большого пути. И главное не ошибиться в самом начале.

Ксения молчала, но нравилась поэту. А через день кислое настроение прошло. От него не осталось и следа. Зашел в редакцию «Глобуса», и зав. отделом дала бумажку, пристально следя за реакцией.

«Социально, талантливо, верно, мастерски, глубоко, философически, с охватом, разоблачая, действенно... рекомендуется к публикации.»

Ноги задрожали, сел на стул. Зав. отделом придвинула стакан с чаем.

– Времена меняются. Настоящему воздается.

А редактор сказал:

– Минимум через полгода.

Что такое «минимум» и как его связать с «через полгода» не соображал, не помнил, как до дома добрался. Ксения не удержалась и заплакала. Тесть с тещей бледнели и багровели от избытка нахлынувших чувств. «Ты победил, сыночек», – сказал Степан Нико-лаевич, а «сыночек» – впервые.

Ксенины подруги обсуждали между собой самое нелепое: гонорары, телевидение, машина, дача, заграница.

– Где ты их откапываешь, – злился, резал воздух рукой и смеялся: – видно, мне предстоит еще о них написать.

Тоже кое о чем фантазировал. Не без греха. Хотелось испытать себя на крепость в не пережитых доселе сферах.

Ощущение победы подарило вдохновение и новый творческий подъем. Писалось стройно и легко, со свистом и песенками. Машинка стрекотала теперь в открытую, по полному праву, и можно было смело сказать при необходимости: «пишу, занят, работаю над новой книгой» или еще что-нибудь в этом скромном виде.

В редакции уважали, входили в личные проблемы, советовали, Нематод был незаменим. Без какой-то там корысти он хотел быть ближе к таланту.

– Я бездарен, – говорил он без тени сожаления, – но любой талант для меня – это смысл жизни.

Жизнь словно расширилась. Цветы распускались гроздьями. Открывалось много нового старого и нового нового. Зазывались таланты, но, естественно, мало оказывалось действительно ценного. И вот тут-то вышел «Прыжок». Произведение эмоциональное и острое. Символическое. Современное. Лучше не нужно. Как черта под всем старым и отжившим.

Это был триумф, это было долгожданное шествие разума и справедливости. И уже была готова вторая вещь и доводился до ума сборник рассказов, пророчились переводы и переиздания. И все это без конъюнктуры, силой слова, с самыми светлыми побуждениями.

Поэт написал очерк, где рассказал о терниях замеченного им дара, проанализировал «Прыжок». Было лестно, но все-таки не понравилось. Не вник в глубину поэт. И взбесила фраза: «И кто знает, не погиб бы молодой замечательный талант, если бы не последние события и дружеские чуткие руки помощи».

– Он вас, Леонид Павлович, откопал, – утешил Нематод, – а вы его закопаете.

Позже использовал эту фразу в романе.

Потуги начала романа

Со мной что-то творилось. Всегда. Я совсем не знал, кто я такой. Иногда мне чудилось, что я это не я – Веефомит, а кто-то другой. Вот, например, я берусь за писание и останавливаюсь, потому что не могу найти в себе себя, а нахожу какие-то конечные или чувственные «я», нейтральных личностей и падших ангелов. Иные из них живут мгновение, иные часы или дни и недели, но всё же это не так много, чтобы утвердиться, что я это они или какой-то из них. Тем более, что все они исчезают, а я всё живу и живу.

И по всей видимости в этой книге вы не найдете конкретного автора, я попытаюсь растворить его во всех событиях и образах, чтобы иногда он присутствовал сам, но ошибется тот, кто почитает, что Веефомит на страницах книги это и есть автор-Веефомит, ибо если автор действительно творец и художник, то он и есть та по-настоящему жизненная вселенная, которой тесны любые гармоничные рамки, и это его созидательный дух рвется вон за пределы стандартов и догм, фундаментальных законов и классических теорем.

И я не покажусь себе самонадеянным, если скажу, что существо души и дыхание Вселенной предлагается вам подсмотреть и услышать. И если кто-то испытывал чувство вины перед собою, тот мой. Скажу больше, Господь Бог умер бы, внуши ему, что он смертен. Но этого ему невозможно доказать, будь он даже ребенок. Как невозможно и меня заставить поверить, что я пришел в мир ради того лишь, чтобы потолкаться среди миллиардов. Ибо вселенная – это все мы, вбирающие друг друга и выходящие один из другого.

И каждый волен выпить в меру зачерпнутого.

Ближайшее и отдаленное, поверхность и глубина, мечты и окаменелости – все это во мне, все это взрывоопасно ширится и просачивается на страницы романа, рождая мысль, оживляя мечту, сводя с ума, либо протирая зеркало ясности. Чувство расплавляется в образе и диктует свою волю будущему. Мучительный выкрик «Я – вселенная!» оживает плотью, пропитанной желанием и волей, и где-то там вдали я уже повелеваю мирами, напрягаясь, чтобы понять: что есть я в размноженном, как осколки единого зеркала, сознании тысяч идей, оправленных в плоть под названием люди?

И ныне я, вобравший вас, войду в вас, как слово, как незабываемый образ, как вы, чтобы так же вольно и щедро вы по-далили мне меня, нашедшего в вас новую жизнь.

Итак, я – это вы,

вы – это я.

Но это на время забудьте, нам еще предстоит пошегать, чтобы через эти слова ваше сознание наполнилось вечностью.

...Когда Веефомит томился непониманием и глупел от открытий, покуда миллионы тонн пищи перерабатывали гениальные желудки, и океаны свежайшей информации вливались в опухшие мозги, родился крошечный образ, который сидел, ходил, слушал и был неотличим от миллионов, но которому предстояло вобрать весь человеческий мир. И обреченный Веефомит начинал догадываться, что маленький образ – это его желание противостоять всему комичному и нелепому в са-мом себе, как отвержение такого порядка вещей, в котором набирал силы новорожденный плод.

И ужасно медленно Веефомит постигал:

«Мать сознания – материя, хаос – отец, а дом – его вечность. И это неугасающее сознание, разбрызженное всюду, стремится к единому, в ком будет повелевающая сила, оплодотворенная возмужавшей мыслью, выдвигающая новые глаза, формы и миры.»

И тогда Веефомит увидел рождение – тонкую стрелу мысли, пущенную из глубин материи и хаоса.

Веефомит посмотрел на себя со стороны, стёр слезу умиления, и долго было неизвестно, кто под его вдохновенную улыбку соединил слова «Вот начало романа»:

* * *

В 1996 году, когда мне было всего тридцать семь лет, в город Калугу прямо перед Новым годом ворвалась интересная парочка. Ей – двадцать семь, а ему девятнадцать. На них не могли не оглядываться. В те далекие перевалочные времена уже никто не нуждался в добротной на любой вкус одежде. А эти двое вышагивали, словно вывалились из глубины времен, к примеру, из начала восьмидесятых, штормовых и очистительных. Можно было подумать, что они артисты. Оба изрядно поизносились и представляли собой картину, совершенно не имеющую аналогий.

Она, Зина, кругленькая рыжая веснушчатая особа, облаченная в потертый серый свитер, в душегрейке, в толстых шерстяных рейтузах малинового цвета, в синей жокейской шапочке, натянутый на конопатые уши. Ее рыжие локоны вызывающе торчали из-под шапочки, и нос краснел жадной жизни. Он – чуть меньше ее, худощавый, длинноволосый однозубый юнец, тащил в заплечном рюкзаке годовалого ребенка, а в руках десятилитровую канистру и здоровенную корзину, прикрытую сверху картиной, лицом вверх, с изображением падшей Магдалины, упирающейся в чистое калужское небо взором, в котором застыло лукавство. Совсем непонятно, каким образом каждый наверняка знал, что это именно Магдалина. Редкие калужане останавливались и зачарованно смотрели им вслед. И Зина имела поклажу: два увесистых чемодана легко болтались в ее величавых руках и, по-видимому, не причиняли ей особых хлопот. Она беспрерывно вертела головой, притопывала щегольскими валеночками, восхищаясь старинными особняками, и заливалась чистым здоровым смехом. Ее спутник кряхтел и отвечал ей постановиванием.

Теперь уже никто не поверит, что я сам оказался тому свидетелем, столкнувшись с ними на улице Циолковского. Я так и замер с широко открытым ртом, когда понял, что не сплю.

– Раджуля! – мощно и весело выдыхала она, – смотри какая прелесть, это просто рай, я балдею!

– Балдей, сталуха, – задыхаясь, хрипел юнец и кривился от тяжести поклажи.

Когда он морщился и говорил, его единственный зуб ненужно и пугающе сверкал, как одинокий воин.

Они остановились возле меня, и Раджик без интереса заглянул в мой открытый рот.

– Смотри, Любомирчик, здесь мы будем жить, здесь наша судьба, – и Зинаида, подняв руку с огромным чемоданом, обвела этим указующим царственным жестом всю Калугу и близлежащие, в снегу, рощи.

Я вовремя отпрянул в сторону, ибо этот чемодан мог запросто снести меня с лица земли.

– Я знаю, здесь я буду творить по-настоящему! – вырвалось у Зинаиды, и я снова открыл рот.

– Здесь ты натволишь, – согласился Раджик.

Любомирчик таращил мутные глазки и крепился из последних сил. Это было странное дитя. Наряжен он был довольно-таки вызывающе. Основная часть туловища находилась в рюкзаке, поверх которого в поясе он был прикручен к груди Раджика голубой лентой так, что вывалиться не мог, если бы и захотел, на нем была пятнистая шубейка, под подбородком вокруг шейки – шарфик с кисточками, на голове лисий лоскут, на лбу в рыжем меху желто и металлически блестел таинственный символ: крест и полумесяц. Мое сердце за-трепетало от неясных предчувствий.

– Он там еще не нацедил? – беспокойно прошепелявил красный Раджуля. – Что-то спине мокло.

– А что, еще далеко идти? – посочувствовала Зинаида.

– Вот те лаз! – грохнул Радж на утоптаный снег поклажу. – Ты, сталуха, даешь! Я думал, ты меня ведешь, у меня тут, понимаешь, клыша от этих колзин едет!

Тут он махнул на нее рукой и увидел меня. Я мигом закрыл рот и скромно опустил голову.

– Эй! – прокричал Раджик, – как добратся до улицы?..

В то время в городе я был новичком, можно сказать, приедем, и плохо ориентировался. Я извинился за неосведомленность. Раджуля отвернулся и сказал Зине:

– Улод какой-то.

И она смерила меня победоносным взглядом.

Я покраснел и тихо пошел своей дорогой. В те времена уже считалось дурным тоном обращать внимание на оскорбления. Я уходил, а в спину мне завопил Любомирчик. У него был бас, и трубил он, нужно сказать, искусно. Я ускорил шаг и скрылся за углом.

Как потом узнали калужане, странная парочка остановила еще двух или трех прохожих, добилась своего и направилась к трехэтажному дому, что и теперь все еще стоит на площади возле магазина «Приобрети и делай, что хочешь». Хороший магазин, между прочим. И каким же потрясением стало для меня известие, что это семейство приехало к моему доброму знакомому Кузьме Бенедиктовичу. Беда в том, что я плохо запоминаю названия улиц, иначе я бы непременно самолично проводил гостей и избавил бы Зинаиду от тяжести чемоданов. Я вообще стараюсь быть галантным с женщинами. Стоило бы им сказать, что они ищут Бенедиктыча, любой калужанин был бы рад забыть все свои дела и проводил бы их, посчитав такой труд за счастье. Кузьму Бенедиктыча и сейчас многие поминают добрым словом. Но тогда ни Раджик, ни гордая Зинаида не знали, что такое Кузьма и с чем его едят.

Через три дня ему пришлось временно поселиться у меня. У него была комната и мастерская. Но в мастерской он отныне ни работать, ни спать не мог. Он был для них дедом, пожившим свое, да еще запятнанный бегством от собственного сына, «в долгах, как в шелках» – как выражалась Зинаида, и потому в его мастерской сушились колготки и прочее семейное белье. Как-то я зашел, а он, бедняга, сидит в уголке, и Любомирчик его за усы щиплет. А в глазах у него виноватая тоска. Я и предложил поселиться у меня. Нуждался Бенедиктыч в добром слове. Поведал он мне о своей женитьбе, о Татьяне, повздыхал, повинил себя. Понять можно – не ждал, не гадал, а тут внук, Любомирчик. Так и меня одолела бы ре-флексия.

– Забавнейшее дитя, – растерянно улыбался Кузьма Бенедиктыч, – рыжий в Зиночку, а хитрющий, каких свет не видывал. Написает, на Раджика пальцем показывает и говорит: «Он!» Это же надо!

Я кивал и тоже посмеивался. А Кузьма Бенедиктович вздыхал, продолжая:

– Кто же мог знать, что человек так меняется. Я теперь, веришь, вижу этого шалуна пухлого, и глаза слезятся. Ну, надо же! – и он вытирал глаза, – весь мальчишка в Зиночку, даже на меня не похож.

И действительно. Малыш был рыжий и шустрый, и поругивала Зинаида Раджика, что не уделяет он сыну внимания. И тогда Раджик вспыхивал, как чиркнутая спичка:

– Ты меня, стауха, лучше не выводи! Я тебя не просил его ложать!

– Ну, какой ты мужчина! – смеялась Зинаида. – Нет, из тебя полубога не сделаешь!

И Радж в который раз прокусывал от злости губу единственным верхним зубом.

Не знал я, сочувствовать Кузьме Бенедиктовичу или поздравлять его. Жизнь штука не однобокая. Тогда уже, почти, как и теперь, благополучно с жильем было, и выделили Кузьме Бенедиктовичу квартиру. Он вновь занялся разными сложными чертежами, но прежде, чем это произошло, у нас было три-четыре дружеских вечера, где пился чай и дымились наши трубки, где я был совсем другой, где были воспоминания о Максиме и Москвичке, и где, не без помощи исповедей Бенедиктыча, я начинал видеть себя в прошлом и будущем, сидя у стола в своем доме в городе Калуге 1996 года, когда мне было всего тридцать семь лет.

Понедельник

Как говорили, «попал в струю». Невольно. Предощутил ли социальную тенденцию, а может быть, явился естественным рупором новых решений. Так всегда бывало. Часть социального организма. А не знал. Но некоторые моменты еще тогда, в начале, настораживали. Самостопор, о котором думать не хотел. Социальный самоконтроль. Иногда ловил себя на желании сказать как бы резче, острее. Но изгонял это желание, считая его ненужным индивидуализмом. Тем более – новые лица, письма-отклики, масса задумок, ребенок, средство передвижения, место отдыха и, действительно, поездки. И страшила мысль о потере вообще жизни, о катастрофе, тем более, когда всё так здорово, а тут постоянно – испытания, маневры, демонстрация мощи и взрывы, взрывы, взрывы. И желал объяснить, показать доходчиво, воспитать. Встать в ряд с лучшими. Заслужить это право быть совестью и хранителем нравственности. Незауряден и оригинален. Пророчат: талант, история, великая судьба. Проводят параллели и сравнения. Эпохален, говорят. Звучит, как нахален. Или рифма: барин. Это вставал перед глазами бородатый Лев Николаевич. Так сам к себе придирался, разбирался.

С одной стороны, тончайший отбор того, что лезет из головы – заслуга. Но по какому принципу? «Подойдет ли всем?» «Поймут ли?» «Главное – себя понять?»

Кричал Ксении:

– Нельзя говорить всё. Хаос! Человеку необходима надежда. Твердое алиби торжеству справедливости. Иначе начнется!

– Что? – спрашивала она безразличным тоном.

– Что, что! Безнравственность. Стихия.

– После стихии наступает затишье, – возражала она.

– Но что я должен? – кричал, – я итак отражаю судьбы. Нелегкие судьбы!

– Километры страниц этих судеб, – сказала Ксения и ушла.

И почва из-под ног убегала, голова кругом. Теперь уже без восторга представлял, что нужно начинать снова – и выдавать, выдавать, собирая волю в кулак, изо дня в день, пропуская через себя чужие мытарства и состояния, отсеивая варианты. Так и виделся отличный современный станок, что штампует зеленые бутылки. Пластмассовые. Легонькие. Блестящие. Ритм у станка запоминающийся: пыф-шиф-ха, пыф-шиф-на, пыф-шиф-да.

Но не гад же! Всё честно, сколько раз себя ловил: нет ли отклонения от идеалов? Кривизна души? Выбор тем? Рупористика? Нет, черт дер! Темы сами приходят, естественное желание созидать, кривизна бывает, но от недоумения, тогда брал и правил или потом ненавидел напечатанное уже. Всё как надо, как старые мертвые учителя, как умные классические книги.

«Вот именно! Всё, как надо!» Нет, зачем же, знал, что и ни в этом соль болячки. Она где-то там, в тяжелом ритмическом пыф-шиф-ха!

Но что же? Наитие что ли? Труд есть труд. В слове «мастер» нет ничего такого, фальшивого... Наоборот, гордо звучит, заслуженно, впрочем, кто как понимает.

Всегда искал. Не останавливался. Не боялся трудностей. Самые резкие темы выбирал. Схлёстывался из-за них, рисковал. Не потому же, что знал, что ничего за них не будет, может быть, и «пострадать» хотел. Но это, когда еще лучшие времена не наступили. И вот рефлексия, когда сбылось всё, о чем в юности мечталось. Развивайся, сколько влезет. Копай вглубь. Держай в хорошем смысле.

И рвал, бывало, целыми главами, отбрасывал, сжигал. Не потому что перегибал или лгал. Стремился быть на пределе, не желал повторяться, искал новые формы.

Материальная обеспеченность не в счет. Она даровала глубину. Избегал роскоши, не скаредничал, друзей не терял, не угождал, не кланялся, молодых не отгонял. Нематод с Сердобуевым искренне добра желают, собою, вон, жертвуют.

Так что же? Возраст переходный, и всё? И отчего такое ощущение, будто Ксении рядом нет, будто ничего и не было? Как написанный кем-то дурацкий роман? Что за терзання? Куда они ведут? Кому это нужно?

В чем смысл, когда ни себе, ни другим не объяснишь, не выпростаешь, а всё равно мучения по кругу, ненужные и бес-плодные...

Может быть, болезнь? Такие результаты и всё зря! Как будто вернулся в юность («Терзаешься, как дохлая курица!»). Обманул, выходит, раз плохо смотреть на результаты. А что же с ними? Вон сколько почитателей, интеллектуальный экстаз испытывают, душу наизнанку выверни, все равно воспоют.

Мечтал, дерзал и дотворился.

Тя-я-ж-ко!

– Мне надоело поучать, вести, отражать, – высказал назойливую мысль.

– Ты устал.

– Мне надоело вести, – повторил раздраженно и почувствовал, что говорит в пустоту, Ксении не было.

– Мне надоело выдавать примеры! Я не могу зацепить главное!

– Ты опять ездил к нему? – услышал ее голос.

– Да.

– Тогда понятно.

– Ну что тебе понятно?! – вскричал и подумал: «А со стороны-то ничтожный!»

– Я просто сказала слово «понятно».

– Ты устроилась в благополучии и смотришь на него другими глазами. Ты бы не вернулась со мной назад, чтобы начать все заново.

И опять не увидел ее рядом. Ее не было. Кто-то придумал эту глупую шутку с женитьбой, кто-то разыграл этот жалкий фарс с писательской судьбой.

Не выносил, когда она обижалась. Не мог быть спокойным, когда ее обида заполняла пространство (никогда не плакала от обиды), когда она уходила в себя.

«Суета, мишура какая-то!» – злился и знал, что злость пройдет, и злился на то, что злишься, зная, что злость пройдет.

«Ум зрит, а плоть разгульна, ум знает, что глупо, а раздражению начхать, психике до фени. Заняться аутотренингом, что ли? А куда тогда денется движение? Будет этот вечный самостопор, реле-поворота?»

– Пойду машину загоню.

Она не ответила. Может быть, отойдет в отсутствии.

В гараже полумрак, прохлада и запахи, чудная смесь тепла и металла, бензина, резины, масла, кожи. Присел на капот, закурил.

«Дьявол! Какого черта он не стал писать?» – это восклицание прорывалось время от времени на протяжении шести лет. Изредка, но страстно. Пока сам писал романы, кто-то выдумал этот роман с таким вот тошнотворным финалом. Писал, сам являясь типажом, героем, где тоже неувязки и неточности. Ксения – это ведь так глупо, с ней явная неувязка.

«Я уйду от нее!» – подготавливал себя. Тяготило ее контролирующее око. Боялся признать, что не дотянул до нее. «Уйду» и «писать» – две нерешенности. А остальное – все та же вечность.

Тогда Кузьма объяснил очень просто:

– Займись другим.

– Почему? У тебя же способности, – смотрел в его шальные глаза и думал: «Безволие, упрямство, немоть?»

Так все ему и выложил.

– Нет, – не обиделся Кузьма, – боюсь я.

- Чего, дурачок?
- Себя, – и взволновался, – не могу пока объяснить, ты веришь, не могу. Сам еще не понял.
- А хочется?
- Чего?
- Писать?
- Бывает. Когда тоска и мысли необычные.
- А сюжеты?
- Нет их.
- «Бездарен», – решил про себя и сказал прямо:
- Значит, это не твое, займись другим.
- Боюсь я.
- Тут, помнится, и сам растерялся: боюсь, боюсь – и все без шутки.
- Пошел ты! Как девочка. Тогда вешайся.
- Возможно, – улыбнулся Кузьма, – мне кажется, что ничего еще настоящего в литературе не было. Слова не покупаются. Да и к слову какой-то странный, глупый подход.
- Ну, брат, ты дошел. Психопатологией завоняло.
- Ты сам не без этого душка.
- Я уже Строев, мне теперь и с ума сойти можно, не заметят.
- Я замечу и Ксения.
- А кто вам поверит?
- А мы тебя ославим.
- «Завидует, что ли?»
- Как?
- Сфотографируем, когда ты обезьяну изображаешь.
- Ну, тогда конечно.
- Посмеялись. Действительно, иногда любил покорчить рожи. Прихоть.
- После смеха серьезного разговора уже не вышло. За всеми Кузиными «боюсь» что-то стояло. Это чувствовал. Какой-то родственный смысл. И сам то приближался к этому смыслу, то удалялся от него. Как будто сам когда-то боялся этого «боюсь» и тщился разгадать – чего именно, и даже если и в себе, то ни – какого, а непременно – чего. Ни – «какого», а – «чего»?
- «Как-то проскочил эту тему, что ли? Вот как привык – тема, этап, ступень, выбор, уровень... Расщепление идиотское. Не определишь. Трёшься, трёшься, чешешь, как болячку, корку засохшую срываешь, и снова чешешься до крови... Всё обесценивается, старость, что ли? Ох, тошно!»
- Вкус табачного дыма опротивел; сплюнул и затоптал окурочек, но поднял его и выпихнул из гаража сквозь щель. Привычно постучал носком ботинка по колесу. «Хорош, волчара!» А домой возвращаться не хотелось. И тут понял, что то, к чему пришел, было определенной заданностью, социальным спектаклем, где играл роль Строева. И кто-то подсунул для эксперимента, для испытания – Ксению.
- «Уйду от нее!» – лёг на гладкий металл и прижался к нему щекой. Всегда в ее глазах был тем, кем она и хотела видеть, а ныне все рушилось, летело ко всем чертям. Она ничего не говорила. Она будто бы ждала, когда кончится ее роль, и когда наступит финал, чтобы загорелось новое начало. Видеть себя, терзающегося и неуверенного в ее глазах, было настоящей мукой. Бесила мысль – «не потянул». Жалости страшился. Еще неделя, другая – и она будет жалеть. Лучше решить сейчас, когда не поздно, пусть запомнит таким неуверенным, это лучше, чем она вспомнит жалкого цуцика. Теперь даже боялся с ней встречаться.
- Хотел, ну что тут поделаешь, чтобы другие видели, что все в порядке, что ничего не боится, знает, что и как, посоветует и объяснит, если что.

– Ну и мужлан я! – сказал вслух, и крохотное эхо неприятно кольнуло в уши.
Единственная мысль принесла хоть чуточку облегчения:
«Ленка скоро паспорт получит»

* * *

Неправда, что выше головы не прыгнешь. Прыгали. Вот только волосами жертвовать приходилось. Кто лысеет, а у кого кудри выпрямляются. Кому не известно, что кудри – это признак шизофренического ума? И кто заботится о своих кудрях, тот естественно, выше головы не прыгнет, даже если сильно захочет. Прыгнуть – это увидеть вокруг, позади, впереди, соотносить с убеждениями и побуждениями, тем самым перестроив себя на более высокое умозрение. А почему один способен видеть, а другие нет, это от самоволия – сам волен. Да и зачем всем? Если, к тому же, волосы начинают выпрямляться, сесть и выпадать. А люди повсеместно дорожат кудрями, особенно девушки. Вот разве что Леночка.

Леночка (милочка, девочка, крошечка, лапочка) свои мысли так тезисно, конечно, не выражала, но мыслила о непосильных прыжках почти так же:

«Один раз живешь, приходишь в жизнь, словно на праздник, а они портят его своими предрассудками, своей немощью, духовным вырождением и трусостью...»

И при этом у нее секлись и выпрямлялись кудри. Далее она перечисляла весь набор человеческих грехов, и они, то есть люди, слабые и фальшивые (папы, мамы, соседи, педагоги, начальники и подчиненные) являлись для Леночки (горячей, строптивой, дерзкой) тем плодотворным злом, с которым она боролась и которому ни за что не уступит. Что поделаешь, если Леночка не понимала, что она не есть «добро», возникшее от рождения, и что ей самой еще предстоит решать, что же действительно истинно, а что ложно.

Красивая девочка, обворожительная милочка, она доказывала подругам и знакомым необходимость бескомпромиссной жизни, она призывала отстаивать идеалы правды и широту души. Но она, лапочка, крошечка, почему-то не видела, что если подруги физически не ущербны, не закомплексованы, то трагедии потрясенного сознания лишь разворачивают слепоту души и стандартность помыслов, и от серьезного восприятия остается кривая скептическая усмешка. Не замечала как-то она, бедняжка, хрупочка, что молодые и зрелые знакомые, глядя на ее щечки, пылающие от негодования или восторга розовенькой яблочной кожурой, видя ее тонкие ручки, гордые глазки, всю ее стремительную пылкую фигурку, забывали о величии добра и чудовищности зла, а видели и желали (каждый в меру натуры и испорченности) видеть ее такую же, но и другую, ну, словом, свою...

Беда прямо с этими женщинами, девушками, Леночками, лапочками, дерзкими, пылками...

А закомплексованные, ошарашенные своим нестандартным жребием девицы (толстоногие, крупноносые, кривоногие, очень уж полногрудые, коротконогие, жидковолосые, ушастые, губастые или со шрамами) принимали ее тенденциозное мировоззрение, как благодать, как единственно возможное решение межполовых и межлюдских проблем. Леночка призывала к внутренней гармонии и возвращала им самих себя – с полнотой сил и красотой натуры. И знакомые продолжали топтаться тут же и мечтать, и пьянеть от ее звонкого голоса и ее благородных порывов. Так вокруг нее всюду собирались кучки совершенно разных людей. Леночка была магнитом, а они – гвоздями. Так она два года искала твердых идейных платформ, находила, слушала, отрицала. Натыкалась на идеалы и презирала их. Восемь раз идеалы дорогу перебежали. Богатейший опыт приобрела, лапочка, умничка. И совсем уж было возненавидела хамельонское многообразие жизни, так как увидела перед собой планету, кишашую лицемерием, и чуть было не заговорила о грязном многообразии, которое сжигает все чистое, душит искреннее, оставляя пепел несудуваемой горечи и вечной тоски. И написали бы тогда,

что «незачем нам (женщинам) искать чего-то и смысла, если уже доказано, что все мужики обманщики и подлецы». Посмотрите на Леночку: вот она бросила учиться, но не стала работать и никуда свою трудовую лепту не вносит. И папа не знал, что дочь не учится, мама переживала, но не перечила – единственный человек, который понимал и занимался, по словам папы, всепрощенчеством. Так бы и жила Леночка, от кавалеров отмахиваясь, бывших подруг не принимая, эстетствовала бы втихую, ела и пила бы в липкой столовой, спать ложилась в 23—30, если бы не одно обстоятельство. Был у нее незримый покровитель, которого судьбой называют. «Дядечкой» она его называла. И видел он, что и в разочарованном виде Леночка, резвушка, кровь молодая, смеялась звонче всех, когда природа брала верх, когда, забыв о трагичности мира, могла она запеть, сделать какое-нибудь мальчишеское «па», перепрыгнуть через три ступеньки и подмигнуть встречному праздному пареньку на эскалаторе. И видел тот тайный покровитель, что на юную дочь тягостный пессимизм все шибче наваливался, нигилизм ширился, презрение росло. И путалась о себе в мыслях Леночка, терялась в хаосе мыслей, совсем сбилась толку: что от чего в ней берется. Накатила природа на мышление инстинкты и законы свои функциональные, и не слышать бы стало Леночку через три года, зауряднейшей фигурой по земле бы пошла, вновь стала бы слепой с безобразным мировоззрением; и одна лишь интуиция, да «дядечка» -покровитель могли теперь спасти Леночку, вывести ее к чему-либо более перспективному. Чтобы и род здоровым был и надежда какая-то.

И действительно, интуиция сделала в ней щелчок, когда сошлись пути-дороги ее и Копилина. Встретились, как говорили в старину, любимая и любимый.

Вариант

«Ты же помнишь, как в 1989 году я увлекся ландшафтом.»

«Чем, чем?»

«Ты тоже забыл. Я увлекся этой, как там, природой, короче.»

«Ну помню, ездил ты в тайгу. И что? Ты давай не тяни.»

«Тогда я еще уезжал в деревню, как ее?»

«А пошел-ка ты! Откуда мне помнить, если ты не помнишь. Мы о чем с тобой говорили? Я начну думать, что у тебя с головой того. Слушай, я лучше домой пойду.»

«Подожди. Это для тебя важно.»

«Моралите, что ли? Не витай в облаках, старина.»

«Ты послушай.»

«Ну ладно, черт с тобой, не тяни, рассказывай свою поучительную историю.»

«Она так себе. Не то, что поучительная. С таким мало кто сталкивается.»

«Охотничий анекдот?»

«Нет, просто тогда, в той местности, ну, как ее название?»

«Говори – деревушка.»

«Да нет, это далеко от нее. Там просто местность называется по-особому, гора, река, озеро, болото и все это вместе...»

«Нет! Я так больше не могу, это издевательство!»

«Сядь, пожалуйста. Понимаешь это очень важно. Может быть, ты тогда меня поймешь, сам же допытывался.»

«Ну сел. Только учти, я один способен тебя хоть как-то слушать. Ты же форменный дебил. Не зря тебя здесь чокнутым считают. Я их понимаю. Пока ты слово выдавишь – родить можно!»

«Ты слушаешь? Так вот. Местность там эта, велеречивая.»

«Какая?!»

«Ну да, очень такая бесконечная.»

«Давай, давай, гони!»

«Я попал туда с одним мужчиной.»

«Ну естественно, это тебе больше подходит.»

«Он знал Якова Леонидовича Мартынова давно. Три года сам завозил ему продукты. Он его даже не просил помогать. А тот ехал на охотничий участок...»

«Стой, подожди! Я так ни черта не пойму. Кто такой Яков? И кто такой тот и он? Давай-ка лучше так – зимой это было?»

«Кажется, снежок был.»

«Вы ехали или шли?»

«Ехали.»

«На чем?»

«На таком, типа мотоцикла.»

«Ты же изобретатель, Кузя! На снегоходе?»

«Точно!»

«Понятно. А этот Яков жил в тайге. Один жил?»

«Да.»

«Он охотник?»

«Нет, он это...»

«Рыбак, егерь, натуралист?»

«Нет, он, как бы отшельник.»

«Ну ты, Кузьма! Он, значит, бежал от общества, горемыка или философ?»

«Нет, он вымирал, он...»

«Вымирал, фю-фю-фю! Не могу больше!»

«Ну подожди, сядь! Я же тебе не анекдот рассказываю.»

«Конечно, чистую правду. Я в своей жизни слушал любого грузчика, бича, я внимал недоумкам. Это моя профессия. Но ты! Куда ты сунул свой запас слов? Ты же всегда умел ярко объяснить. Что ты с собой сделал? Отвечай.»

«Ну ты же знаешь... я мало общаюсь. И потом, я многое уже отговорил. А новое не умещается в прежние понятия. Я теперь должен пока смотреть.»

«Куда ты будешь смотреть? В телевизор? Кузьма, у тебя седина на висках, а ты все чертишь и чертишь. А все эти твои ребяческие увлечения? Конечно, твои игрушечные изобретения для сограждан – это очень мило. Но их всего пять. Ты бы мог их сделать за пять дней. Почему ты не работаешь в нормальных условиях? Это прожигание жизни и похоже на деградацию!»

«Я тебе уже говорил, Лёнь. Я занимаюсь одной идеей, мне нужно вычислить всё до последней черточки. Я хочу увидеть...»

«Да что ты там говорил! Ты бредишь. Ты похож на маньяка, который выдумывает скатерть-самобранку. Ну и что это за идея?»

«Ад и рай, я тебе говорил.»

«Кузя, ты больной, это точно. Хорошо, что не буйный. Хочешь я тебя инкогнито свожу к хорошему психиатру. Таблеточки попьешь, успокоительные процедуры, отдохнешь, отвлечешься.»

«Я такой же больной, как и ты. Даже меньше.»

«Нет, Кузьма. Ты – больше.»

«Ну ладно, пусть. Я же тебе хочу объяснить на примере того случая.»

«Рай и ад?»

«Нет. Развитие. Итоги.»

«Понятно. Значит, этот Яков занимался там чем-то бредовым. Мироззрение у него, небось, или поэзия.»

«Он ждал смерти.»

«Ого! Он урод?!»

«Нет, он пра-пра-внук Мартынова. Три или два пра.»

«Это который Александра Сергеевича того?»

«Почти. На дуэли.»

«Ой, как смотрит! Думаешь, фурор, эффект сделал? Голубчик мой, Кузя, он тебе просто наплёл. То, что он идиот, ты об этом не думал?»

«Ты его не видел.»

«Ну и что. И слава Богу! Я таких чудиков каждый день по шесть штук встречаю, и не где-нибудь в тайге, а в столице. Удивил! И что он за типаж?»

«Он старик. Ты не перебивай.»

«Ладно, рассказывай, а перебивать я все равно буду. „Он“, „они“, „тот“, „Яков“, а как я пойму? Рассказывай, у меня времени нет.»

«Тогда мы приехали, сгрузили два мешка, а мне понравилось, место там хорошее.»

«Пописать захотел?»

«Да, ты помнишь, как я задумал эту книгу. А у Якова Леонидовича зимовье просторное, там перегородка даже была, как бы вторая комната, топчан еще один.»

«Барствовал отшельничек. Понятно. Это тебе мужчина тот сказал, что он пра-пра Дантеса.»

«Нет, там никто об этом не знал. Мне сам Яков Леонидович это рассказал.»

«Ну я понял, можешь не продолжать. Ты хочешь подвести меня к мысли о расплате за предков, так сказать, кровь за кровь, фамильное проклятие, вырождение династии, нравственная расплата. Дурак твой Яков, вот и все. Ну ладно, мне пора.»

«Посиди. Он не дурак. Тут, наверное, просто совпадение, что он именно Мартынов. Мог быть любой другой. Тем более, что он не расплачивается, а наоборот – получил всё, что мог. Он удивительный человек. Я не буду пересказывать его биографию. Я ее, к тому же, почти не знаю. У него было два увлечения всю жизнь: он рисовал и читал. Это помимо всего социального. Он рисовал и читал много. Но не там. Там он не рисовал и не читал.»

«Молчал?»

«Почему? И говорил иногда. Он говорил, что у него переход медленный, что еще не все испепелено внутри.»

«Так и говорил?»

«Я точно не помню. Я ведь сам сначала не понимал. И побаивался его. Я понял потом, когда уехал. А тогда тоже недоумевал. Он еще говорил, что в его развитие не было заложено такой уж большой страстности и что все-таки он вошел в мысль. Я его последние слова запомнил: закон перерождения из социального во внутреннюю, или как ее, в индивидуальную мудрость сознания, прорасти из плоти социума до задач рождения. Это точно его слова. Их я только дословно запомнил.»

«Хочешь сказать, он своим умом дошел. Прочитал, наверное, где-то. И чем он там занимался? Ты его рисунки видел?»

«Нет, у него их там не было. Он говорил, что рисунки, книги, общение – были средствами прорастания. Что это был его путь. Ну он там чай готовил, дрова приносил, воду. Мог зимой не топить сутками, и едой не мучился, мог и не спать, я теперь думаю, он итак вряд ли спал, просто лежал с открытыми глазами или с закрытыми. Один раз я ночью что-то проснулся, зажег лампу, вышел на его половину, а он это...»

«Что?»

«Сидит на топчане и смотрит.»

«Куда?»

«Да куда-то так... и меня не замечает. Утром проснулся, он опять так же смотрит, только рука у него, я запомнил, немного сдвинулась. Вот так еще сутки и просидел.»

«Ну и что такого. Старик вырождающийся. Ты что, таких ни до, ни после не видел?»

«Таких нет.»

«Понятно, они все разные внешне. А многие, как и этот, двигаться не любят.»

«Зато тепло любят.»

«Ну, твой Яков разновидность какой-нибудь психиатрической штучки. Он про Мартынова рассказывал?»

«Нет, он только сказал, что все это было глупо.»

«Еще бы! Родил же Мартынов такого отпрыска-выродка.»

«Я тоже думал, что он выродок. Он еще говорил, что интеллектуализм ранний не дает ему теперь завершить последние штрихи развития.»

«Ну, шизо!»

«Это я своими словами. Понимаешь, он говорил сам с собой. Я зайду, он говорит и продолжает, но это редко. А в самом начале предупредил, что если заговорит, то чтобы я не смущался – хочу слушаю, хочу нет, ему все равно.»

«Постой, Кузьма! Как я забыл о Татьяне! Ну ладно я, а ты-то? У тебя же опыт индийский, ты что, до сих пор не понял, что он шизо от йоги?»

«В том-то и дело, что я сам так вначале думал. Понимаешь, когда уехал оттуда, как-то позже, уже здесь, познакомился с одним. А он знал Якова Леонидовича, работал с ним. Отзывался, как об умнейшем человеке, эрудите, но странном человеке. И он его тоже „тихим шизо“ называл.»

«Ну а Татьяна?»

«Ты слушай. Павел Николаевич...»

«Который с ним работал?»

«Да. Он говорил, что сам его подозревал в занятиях йогой и мечтал у него поднабраться источников. Но потом разочаровался, так как Яков Леонидович знал многие философские учения, но считал, что йога и аутотренинг – это уход и пустота. Он говорил, что аскетические достоинства вырабатываются у любых мудрых людей параллельно настоящему делу, они появляются естественно и являются одной из частей гармонии итога, когда выработано собственное „я“. Он многое запоминает. Работал в музее, бывший интеллектуал.»

«Павел Николаевич, что ли?»

«Да. Поэтому и передал мне суждения Якова Леонидовича.»

«А сейчас где этот музейный работник?»

«Он болен»

«Ну хорошо. А Яков где?»

«Я не знаю. Я же там больше не бывал. Книгу бросил. Ты же помнишь.»

«Конечно, помню такой конфуз.»

«Я не сказал тебе еще важное. Павел Николаевич споткнулся на Мартынове. И не один.»

«Чё, тоже молчать стал?»

«Нет, он как бы не в своем рассудке.»

«Идея-фикс?»

«Не знаю. Нечто вроде смещения тех ценностей, которые были, и тех, что от Мартынова. Перевернуть-то трудно. Он теперь часто говорит: „Я не хочу никого удивить, не хочу никому ничего доказывать, я себя хочу.“ И смеется, нос потирает, у него привычка такая, а сам сквозь щели между пальцев за реакцией следит.»

«Хорош экземпляр, не буйный?»

«Нет. Ему теперь разрешили в музее билетером работать. Он был научным сотрудником.»

«Славно, славно. Эпидемия, я смотрю. Ну и что дальше?»

«Всё.»

«Как, всё? А где моралите обещанное?»

«Я тебе не обещал. Ты сам всё себя этим моралите будоражил, оскорблял.»

«Оскорблял? Ух ты, Кузьма! Что это у тебя в глазах за суровость мелькнула? Точь-в-точь Зосима и Тихон праведник.»

«Смейся, сколько угодно. Но как бы, Лёня, ты не стал, как Павел Николаевич, сквозь щели между пальцами следить за реакцией.»

«Ну, это мы как-нибудь объедем. А ты-то сам не того, как считаешь?»

«Может быть, я не успею.»

«Смотри, Кузьма!»

«Я тебе хотел дать понять, что я не моралист.»

«Совсем?»

«Ну да.»

«Тогда скажи мне, чего такого-растакого этот Яков добился?»

«У меня нет пока для этого слов. Чтобы это показать, нужно все искусства собрать воедино. Будь я хоть Цицероном, все равно бы не доказал словами. И зачем? Кому нужно, тот сам придет.»

«Ну конечно! Я вас лириков-одиночек очень даже понимаю! Вы все шепчете, слюнявите, трясетесь над своими пузатенькими идеалами, носитесь сами с собой, строите иллюзии, побеждаете и достигаете на картинках. Пластилиновые вы человечки! Бегаеете вы от жизни, а она вот – рядом – поезда грохочут, корабли гудят, карьеры, миллионы машин, миллионы людей выполняют программы, банок одних сколько выпускается, а вы всё кичитесь какими-то „истинными ценностями“. Да черт с вами, если вам так самодостаточнее жить, но зачем же другим мешать? Обманывайте себя, но не сбивайте молодых. На кой ваши концепции. Что вы после себя, помимо клинических бумажек, оставите – таких же дурней и трупный яд? А ну вас!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.